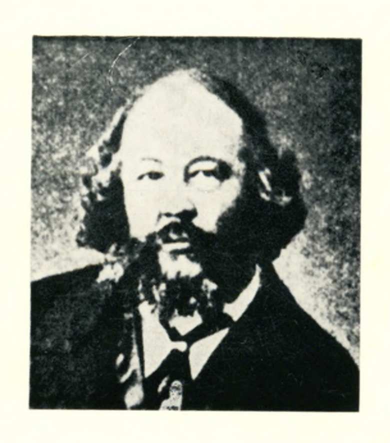
РОМАН ГУЛЬ

БАКУНИН





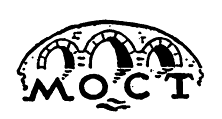

БАКУНИН

РОМАН ГУЛЬ

БАКУНИН

ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА

Издание третье



ИЗД-ВО «МОСТ» • НЬЮ-ЙОРК, 1974

Printed by Waldon Press, Inc., 216 West 18th Street, New York, N.Y. 10011

ОТ АВТОРА

Эта моя книга выходит третьим изданием. Первым она вышла в двух томах, под названием «Скиф», в 1931 году в Берлине в издательстве «Петрополис». Уже до войны книга была распродана. Вторым изданием книга вышла после войны в 1958 году в Нью-Йорке в издательстве «Мост». Текст второго издания был мной сильно сокращен и переработан; книга вышла в одном томе под названием «Скиф в Европе». Книга разошлась.

Сейчас, выпуская книгу третьим изданием, я даю ей название «Бакунин» и вместо былых подзаголовков «роман» — даю подзаголовок «историческая хроника», что, по-моему, точнее определяет и стиль и содержание книги.

Эту книгу, касающуюся темы «русского скифства» я посвящаю венграм, павшим в восстаньи за свою свободу в 1956 году, чехам и словакам, павшим в борьбе за свою свободу с советским вторжением в 1968 году и тем немногим советским бойцам, которые перешли на сторону восставших и вместе с ними погибли «за нашу и вашу свободу».

Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы —
С раскосыми и жадными очами!

Александр Блок «Скифы».

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Император изругался извозчичьим ругательством. Вице-канцлер Карл Роберт Нессельроде, руководитель наружной политики, и граф Бенкендорф, шеф жандармов, руководитель внутренней, сделали подобие улыбок. Улыбки вышли естественны. Но умерли, ибо Николай поднялся, словно был он один в зале, и пошел, громадный, в общегенеральском мундире, плотно стянувшем сильную фигуру. На фоне золотой пустыни дворца, фигуре нельзя было отказать в властности и величии.

Император шел в любимой позе, заломив руки за спину. Знал, что расстроило; от этого было не легче. Расстроили в Красном линейное ученье войскам 2-го пехотного корпуса и вчерашние артиллерийские маневры под Петергофом. В Красном, Николай скакал на белоногом жеребце, в окруженьи генералов: принца Евг. Виртембергского, принца Ольденбургского, принца Фридриха Гогенлоэ-Вальденбургского, графа Берга, графа Бенкендорфа, графа Адлерберга, барона Беллингсгаузена, флигель-адъютантов, свиты, фельдмаршала князя Паскевича и военного министра князя Чернышева. Прекрасное весеннее утро; по небу беловатые облака с синими донышками, никакого ветра. Иностранные посланники скакали тут же, в неизменном белом мундире граф Фикельмон. Интереснейшая ситуация. Линейное ученье должно быть отменно; и всё скомкали никуда негодно.

От артиллерийских маневров осталось невозможное впечатление; до сих пор жило бешенство где-то у сердца и душил воротник. Николай скомандовал залп из всех орудий и вдруг из крайней, у леса, пушки вылетел не холостой, а боевой снаряд, пронесшийся над императором.

Император при всех сделал невольное движение корпусом и пригнулся. Николай рассвирепел, позвал батарейного, при всех кричал на него. Но опять глупость: на матерное ругательство трясущийся офицер ответил бормотавшими губами:

— Почту за особенное счастье, ваше величество.

Даже гнев пришлось оборвать. Батарейный же командир повалился в обморок, как баба.

Неприятности свивались: внезапный удар с министром, князем Чернышевым, в кабинете императора за военным докладом; отвратительный рапорт коменданта крепости, с ошибками и вздором, где вместо «батальона» стояло «эшалон». При обходе богадельни, где приютил глухих, слепых, сумасшедших солдат, под сводами, «на кашу» раздался такой барабан, что император вздрогнул. Под барабан безумный голос умалишенного инвалида закричал непристойности. Царь приказал, дураку-барабанщику бить «на кашу» не в богадельне, а во дворе. В больнице видел у солдат от учебного шага, от вытягиванья ноги, требуемого дисциплиной, на ступне фунгусы! Глупейшее слово! Членосуставная, грибовидная опухоль. «Откуда?» думал Николай, злобно ходя по залу. И идиотический пиджак графа Татищева? Лейб-гвардии поручик, семеновец, приехал из Европы — в пиджаке! Хотел оказать милость, обласкав невесту майора Стуарта, спросил с всегдашней веселостью в отношении к девицам. И вдруг: — «Дозвольте моему жениху носить усы!» — Усы в инженерном ведомстве, в любимом детище царя!

В невероятную свирепость приходил император. К тому ж замучили чирьи: ни сесть, ни встать. «Баба, мажет, мажет...» — бешенно бормотал Николай, это относилось к шотландцу лейб-медику Мандту, заменившему заболевшего доктора Арндта.

2

Вечером, в Петровском зале, играли в вист-преферанс. Стены обиты бархатом, с золочеными, распростертыми, двуглавыми орлами. Канделябры и люстры серебряны, работы петербургской мастерской датчанина Буха. Меж орлами, на стенах, любимые баталы Лядюрнера, Крюгера, Гесса, Коцебу. За ломберным ,зеленым полем — свои, граф

Бенкендорф, граф Нессельроде, барон Корф, генерал-адъютант Плаутин, Николай. Играли по четвертаку.

Это успокоение императора. Бенкендорф не играл, глядел в карты царя; хороший советчик в вист-преферанс. Карлик, вице-канцлер Карл Нессельроде, поджав коротенькие ножки, хитростью разошедшихся, маслиновых глаз, казалось, видел не только сразу четырех партнеров, но и советчика Бенкендорфа. В его желтых ручках карты мигали, словно пойманные и готовые взлететь птицы. Корф улыбался женственными губами.

— Твой ход, monsieur de la Bibliothèque.

Корф бросил маленькую пику, взглянув на императора; и на Корфа и на пику взглянули Нессельрод и Плаутин. Камер-лакеи внесли подносы: фрукты, печенья, чай; составили, пододвинули столики к играющим. Весело вошел красавец наследник. Николай глазами чуть улыбнулся улыбке сына, отрываясь от карт.

— Что там у тебя?

— Каррикатура, папá.

Только Плаутин не бросил сдачу карт; кресло Николая обступили. Каррикатура изображала бутылки. С шампанским,— пробка вылетела, в фонтане выбрасываются корона, трон, конституция, король, принцы, министры — Франция. С черным пивом, — из мутной влаги выжимаются короли, гроссгерцоги, герцоги, курфюрсты, гросскурфюрсты — Германия. С русским пенником, — на обтянутой прочной бечевой пробке наложена казенная печать — Россия. Бенкендорф каррикатуру знал. Нессельроде захохотал звонким хохотом. Короткими ударами расхохотался Николай.

— С бечевой да печатью стало быть моя Россия?

— Mais j'ose le croire, Sire, — смеялся наследник.

Вист-преферанс уставал; император предался воспоминаньям, улучшилось настроение сановников.

— Пинск? — говорил Николай, — что ж порядочный город, улицы довольно правильно расположены, только большая часть народонаселения жиды. Надо бы водворить русских купцов, обещать привилегии, приохотить селиться.

— Помню в Одессе, в последний раз, — посмеиваясь в веер карт, в рыжеватые усы, сказал Николай и шесть глаз, карих, серых уставились на Николая; только усталые, зеленые глаза Бенкендорфа молчали прищуренно. — Встретил я там на улице толпы шатающихся без дела цыган,

в совершенной нищете, нагие, девки по осьмнадцать лет, голые... позор и безобразие! Говорю Воронцову: — что ты не приведешь их в порядок? А он, мне с ними не сладить, все меры без успеха. Ну, так постой, я с ними слажу. Приказал тут же брать всех бродяг и тунеядцев за определенную, поденную плату на работу. И что ж? Через месяц исчезли! — засмеялся Николай; и все засмеялись, кто потише, кто погромче.

— Вот тоже что-нибудь придумай и с этими тунеядцами жидами, Бенкендорф, они у меня служилых людей портят, кого угодно, проклятые, подкупят. Подумай-ка, не составить ли нам из них рабочие роты для крепостных работ, а?

— Жиды и поляки большое бедствие царства польского, — тихо, не меняя усталой позы, сказал Бенкендорф.

— Истина. Один из ссыльных на Кавказ полячишек, недавно проник в Киевскую губернию с целью покушения на меня. Да князь Четверетинский, хоть поляк, а сразу выдал. Впрочем, я на это не смотрю, я свое дело продолжаю, как угодно Богу, до того времени, когда они меня сами поймут. Считаю, что если б я в отношеньи поляков действовал иначе, взял бы ответ перед Богом, перед Россией и перед ним, — указал Николай на наследника, зачитавшегося в кресле французской книгой.

— Злоумышленник в крепости? — проговорил Плаутин Бенкендорфу.

Бенкендорф не ответил, не взглянул.

— Если б явилась необходимость арестовать половину России, только ради того, чтоб другая половина осталась незараженной, я б арестовал, — проговорил Николай, взяв с зеленого сукна белой рукой заснувшие карты; императору пришли черви и трефы.

Наследник зевнул. Вскоре, бросив карты, встав, говорили о любимом детище императора, гвардейском саперном батальоне; обняв Бенкендорфа, Николай улыбался.

— Что ж, ребятишки мои меня любят и я их не забываю, саперы молодцы. Хоть и строг я, впрочем, вернее, был строг больше чем теперь, Бенкендорф, а? Вы с Плаутиным-то знаете, каков я раньше был, да, — протянул, засмеявшись, — сам знаю, что был невыносимым бригадным.

Все пошли за императором из Петровского зала.

3

С половины императрицы Николай возвращался мрачный, словно не было вист-преферанса. Внутренние караулы замирали, как статуи; император спускался в первый этаж; ждали дела́, наложение высочайших резолюций, Николай делал это на ночь; во время работы, на которую поставил Бог, становился сосредоточен.

Постель открыта, на ней солдатская шинель. Канделябры освещают столы карельской березы, томы «Свода законов российской империи», бумаги приготовленные для резолюций. Николай скинул мундир, ботфорты, лосины, остался в рубахе, в подштанниках. Шмыгнул в туфли, с постели взял шинель, накинул и бесшумно прошел к столу.

Писал неграмотно, с множеством ошибок. На прошении «О разрешении студенту Яковлеву выезда заграницу для продолжения образования», написал: «Можид здесь учится, а в его лета шататься по белу свету вместо службы стыдно». На прошении «дворянской вдовы Ртищевой об усыновлении внебрачного сына» написал: «Беззаконного не могу сделать законным», отложил, взял — «О поручении студентов императорского московского университета, живущих вне университета, надзору городской полиции». Написал: «На подчинение присмотру городской полиции тем более согласен, что сему иначе и быть не должно». На «Докладе об укрощении бунтующих крестьян», написал: — «Строжайше подтвердить всем местным властям, все убийства укрощать не потворством, а наказывая виновных силою». Попалась глупая бумага о лотерее, написал гневно: — «Не раз приказывал с представлениями противными закону не сметь отнюдь входить».

Долго рассматривал проект общественного здания; масштабную фигуру человека, долженствовавшего наглядно изображать высоту цоколя, в цилиндре, цветном фраке, жилете и панталонах, гневно зачеркнул, надписав: — «Это что за республиканец! Масштабные фигуры долженствуют изображаться только в виде солдат в шинели и фуражке!» — На всеподданнейшем рапорте графа Воронцова о тайном побеге двух подданных из России и переходе ими реки Прут, где определял граф за сие карантинное преступление смертную казнь, начертал: «Виновных прогнать сквозь тысячу человек 12 раз. Слава Богу смертной казни у нас не

бывало и не мне ее вводить!» — Долго работал император, последним читал дело об отставном корнете Лагофете, растлившем шестнадцатилетнюю крепостную девку; на мнении Государственного Совета начертал: — «Приятно видеть, что Государственный Совет взирает на дело с настоящей точки. При существующем положении нашего гражданского устройства необходимо, чтоб помещичья власть была единственно обращена на благо своих крепостных, злоупотребления ж сей властью влекут за собой унижение благородного звания и могут привесть к пагубнейшим последствиям».

Пройдя к койке, Николай скинул шинель, разделся. На мгновенье остался голым, потом в ночной, до колен, рубахе, лег на заскрипевшую под тяжестью большого тела, койку и укрылся простыней и шинелью. Но долго не засыпал Николай, мучило легкое, в темноте, головокружение и ныли ноги. Думалось о донесениях посла Катакази о происках Англии в Греции, посла Бруннова о волнениях шартистов, приходил на память курьер прусского посла Мейендорфа, доклад о брожениях в Пруссии: Европа не давала сна. Николай не представлял, чтоб события оказывали ему сопротивление; ворочаясь в темноте кабинета, верил во всемогущество войск, слома, силы, оружия; засыпая, думал о походе на Запад.

4

Эльба замглилась, затуманилась сеткой измороси; словно даже душно в Дрездене в этот мелкий, сетчатый дождь; дворец, цейхгауз, королевская опера застыли во мгле; даже барокко белого Цвингера словно увяло.

Под зонтом, Марья Ивановна Полудинская подымалась на брюллевскую террасу, повторяя два слова: «неужели люблю?». И отвечала взволнованно: «люблю, люблю». Да она и спрашивала, лишь бы доставить себе радость повторением. Нервическая, резкая, чуть долговязая шла под зонтом, высоко подбирая юбку. Близоруко вглядывалась в идущих по террасе немцев; видела, по мосту через Эльбу едет карета в серый, в осеннем дожде, Нейштадт.

У парапета Полудинская поглядела на причаливший пароход; под каштаном у скамьи никого не было; в представленьи Полудинской стоял красавец, хохотун, червонный демократ, разрушитель — Бакунин. Полудинская сер-

дилась; как мог он позавчера отплясывать на балу у мадам Шамбелан де Кеннериц с какой то графиней, женой французского посланника?

Бакунин шел широкой, раскачивающейся походкой. Подходя, улыбался дружески.

— Простите опозданье, Марья Ивановна!

Спускаясь по широкому спуску брюллевской террасы, сделанному еще русским князем Репниным, в бытность его дрезденским губернатором, Полудинская проговорила:

— Михаил Александрович, как же совместить, вы якобинец, демократ, танцуете у Шамбелан де Кеннериц?

Бакунин посмотрел удивленно.

— Ну, танцор-то я положим плохой, — захохотал он громко, — а что же, общество на балу было преинтересное.

Они пошли Театральной площадью ко дворцу; их обогнали четыре смеявшихся офицера, взглянули, обернулись на Полудинскую.

И оттого что Бакунин молчал, курил, не обходя шлепал по лужам и оттого что смеялись офицеры, Полудинская выговорила может быть даже не то, что хотела: от обиды молчанья.

— Я иногда ненавижу ту власть, которой сама покорилась.

— Власть? — переспросил Бакунин без интереса, словно не понимая.

— Да, ту власть. То есть, с тех пор, как я люблю вас, Михаил Александрович, — сказала Полудинская дрожаще и вызывающе, — у меня нет ни гордости, ни самолюбия. Не притворяйтесь ,что вы этого не знали, вчера я не могла выговорить вам то, что было на душе, но я не боюсь ничего, даже вашего презрения.

Бакунин почувствовал, захватывающую все существо, неловкость; вспомнил такое же объяснение с Воейковой и Александрой Беер, упавшей в обморок.

— Ну и подите, рассказывайте кому хотите, что я унизилась до того, что сама пришла к вам ,непрошенная и ненужная, и первая вам сказала, что люблю вас. Я хочу только одного, — говорила резко, страстно Полудинская, то глядя на камни площади, ударяя в них концом зонта, то поворачиваясь к Бакунину, — да, только одного, чтоб вы признали, что в этом виноваты и вы. Вы помните разговор о любви? Иль может быть я неверно вас поняла?

Полудинской показалось, что мужественное лицо Бакунина чуть улыбнулось. «Чему?» подумала и захотелось заплакать.

— Марья Ивановна ,видите ли, — громко проговорил Бакунин, — да, я говорил о любви, о том, что это великое таинство, но я говорил это общо, с объективной точки. Если ж вы хотите спросить меня о развитии моего личного чувства?

— Да, — резко сказала Полудинская.

Бакунин поглядел в камни площади, чуть улыбнулся.

— Любовь? — сказал, — сложное это дело, Марья Ивановна. Иногда мне ведь тоже кажется, что люблю, а вглядишься, оказывается и нет. Мало мы знакомы, наши жизни не нашли еще то мгновенье, в котором люди сознают себя и чувствуют, что друг другу родны, что составляют одну жизнь. Но я думаю, что оно для меня едва ли и возможно, не рожден я для любви, Марья Ивановна. — Бакунин поглядел весело, улыбаясь. Полудинской показалось, что Бакунин ударил ее.

Они выходили на Альтмаркт, к старому ратгаузу.

— Ведь любовь, — говорил Бакунин, — Марья Ивановна, далеко еще не истина и к тому ж всегда вступает в борьбу с иными элементами жизни и тут любовь должно умерять и взнуздывать.

— Взнуздывать? Почему ж? — внезапно-тихо проговорила Полудинская.

— Ну да, Марья Ивановна, дорогая вы моя, да, потому что любовь же это потребность всего навсего второстепенная, а у человека есть потребности главные, потребности духа.

Полудинская приостановилась, как от неожиданности и снова двинулась; Бакунин говорил громко, затягиваясь трубкой.

— Конечно, свобода человеческая! Свобода! Вот главная потребность человека! Для чего ж нам жизнь, если нет в ней полной свободы? Жизнь без свободы не нужна, да! Я за эту свободу отдам всю жизнь, я готов обязаться питаться одним черным хлебом, да жить в лесу, только бы быть свободным.

Полудинская внезапно, истерически рассмеялась.

— Не надо, не надо! — говорила в смехе, — не гово-

рите, я не понимаю, что это такое, «быть свободным»? Не понимаю, ну и поделом мне, поделом, ну и хорошо, что я наказана, а вам предстоят, вероятно, занятия более достойные вас.

Вздрагивающие, темные глаза Полудинской были полны слез, но еще сдерживая себя, она проговорила:

— Ну и все равно, знайте, все равно, если б я могла окружить вас всем, что жизнь заключает в себе прекрасного, святого, великого, если б могла умолить Бога дать вам все радости и все счастье, я бы сделала это! — И вдруг Полудинская зарыдала и, закрываясь платком, порывисто пошла прочь.

5

К отправлявшемуся на Лейпциг дилижансу, чтоб поспеть, под дождем, косившим с полудня, по размякшей грязи, ночью бежали Бакунин, поэт Гервег и музыкант Рейхель. В широком черном плаще, черной шляпе, ругаясь на слякоть, на грязь, на посланника Шрейдера, на королей саксонского и прусского, на весь мир, который он скоро разрушит, не оставив камня на камне, Бакунин шлепал по лужам латанными башмаками, ускоряя и ускоряя шаги.

— Бакунин! Ох, черт возьми, вот что значит поссориться с королями, как мы с тобой! — хохотал Гервег, в изящном английском макинтоше.

— Рейхель, дружище, да не отставай! — подхватил его Бакунин.

«В правую руку взял он саблю
И храбро устремился в бой!»

— запел, шлепая громаднейшими подметками по лужам. — Черт дери, если б не эти проклятые тюремщики, я бы слушал сейчас твоего Бетховена, Рейхель, без музыки я, брат, как рыба без воды.

Станционные ворота растворены настежь; у полосатого столба, под крыльцом, стоял толстый почтальон, докуривая фарфоровую трубку, накуриваясь на дорогу. В темноте ворот виднелись очертания лошадей и кареты. Через полчаса, вместе с купцами, спешившими в Лейпциг на ярмарку, Рейхель, Бакунин и Гервег тряслись в дилижансе. Завернувшись в плащ, прислонившись к Рейхелю, Бакунин похрапывая, спал.

6

Флигельная, мансардная комната, в которую вошел Бакунин, поразила его бедностью. Было странно увидеть на берегу Цюрихского озера, трепещущего яхтами, парусниками, среди солнца, ветра, горного воздуха, такую мизерабельную комнату.

Комната освещалась керосиновой лампой привешенной на гвоздь. За столом сидел белокурый, довольно красивый, молодой человек, с кокетливо подстриженной бородкой, в задумчивости грызя ногти. Одет он был в бедный сюртук, щеголеватого покроя; походил на путешествующего комми.

Бакунин остановился на пороге. Атлет, с Петра Великого; темная, кудрявая голова; выражение сине-голубых, чуть татарски разрезанных глаз, смеющееся, пытливо-беспокойное; руки белые, неловкие, аристократической формы; что-то львообразное и вместе детское; улыбка большого рта запуталась в вьющихся усах; легкая славянская сутуловатость придала фигуре неловкость, даже увалистость, словно не знает Бакунин куда ему деть свое раскидистое тело. Подперевший потолок комнатушки, Бакунин и небольшой, вкрадчивый портной Вейтлинг были полным контрастом.

— Я не знаю, не встречал русских, садитесь пожалуйста, — сказал Вейтлинг.

— Я прочел вашу книгу «Человечество, как оно есть и каким должно быть», — басом говорил Бакунин, с некоторой бесцеремонностью разглядывая портного. На бледные щеки Вейтлинга вышли пятаки румянца; не то смутился, не то рассердился.

— Вы чудесно обо многом высказываетесь, хотя я с вами не во всем согласен, я ведь не коммунист, — сказал Бакунин.

— Не коммунист? — тихо спросил Вейтлинг, как бы с мгновенным, жалобным сожалением поднимая светлые глаза.

— Нет, нет, ваш друг Гервег, — расхохотался Бакунин рокочуще, — просто называет меня скифом, но в наших взглядах есть много общего. Георг рассказывал, вы прошли тяжелую жизнь, были работником?

— Да, — сказал тихо, — был портняжным подмастерьем, но когда понял, что мир устроен ложно, ушел из

Магдебурга в Австрию, бродяжил семь лет, писал стихи, — Вейтлинг вдруг улыбнулся чуждо, как ребенок.

— Знаете, почему я так интересуюсь, я видите, сейчас в страшных долгах, если родные не продадут части именья в России, я решил тоже стать работником иль бродягой что ль, работать что попало, но главное, не утерять свободу и скрыться, чтоб не вернули в Россию.

— В Россию? — спросил Вейтлинг, — кто же вас захочет вернуть?

— Царь.

— Ах, царь? Это скверно, — тихо засмеялся.

— Чем вы зарабатывали?

— Шил штаны, сюртуки, латал мужикам платье; в городе делал цветы. Искуственные, — добавил Вейтлинг.

— Цве-ты? — удивился Бакунин, глядя на худые, синевато-костистые руки Вейтлинга. — Ну, этого я наверное не сумею, для цветов я груб. Много вырабатывали?

— Чтоб не сдохнуть с голоду.

Лампа светила скупо, как раз от стены освещая Бакунина, развалившегося в соломенном кресле. Вейтлинг, видимо, к нему уже привыкал.

— Я многое видел в жизни, — говорил он, — такую нищету, какой вы никогда и не видали, если говорите, что у вас даже именье. Я давно понял, что нищие вправе убивать богатых, только потому, что они нищие. В Париже, в 37 году я вошел в «Союз справедливых» и с тех пор борюсь за угнетенных.

— Вы чистый немец?

— Почему вы спрашиваете?

— Так.

— Странно. Нет, я сын француза и немки. Внебрачный, — добавил Вейтлинг.

Бакунину Вейтлинг нравился. Вейтлинг казался даже заманчивым, в Вейтлинге мелькнул Бакунину огонек фанатизма.

— Вот пишу в защиту бедных классов, — оживляясь и примиряясь с Бакуниным, говорил Вейтлинг, — и вижу, что такое свобода печати при господстве денежной системы. В современном обществе всё покупают за деньги, совесть, тело и дарованья человека. Разве это свобода? Свобода для одних и тюрьма для других. Вы согласны, что работникам в современном обществе приходится разыгры-

вать роль ослов, которых бьют палкой там, где надо бить, а где обходятся одними возжами, то направляют не менее искусно?

— Разумеется.

— Но как же вы тогда против коммунизма?

— Так что ж? Вы видите спасенье общества в коммунизме?

— Да, в коммунизме, — Вейтлинг сказал тихо, не терпя возраженья.

Вейтлинг худощавый, аккуратный, небольшой, возбужденный внутренним огнем, встал. — Только коммунистическое государство явится таким, при котором все силы и органы человека, руки, ноги, и голова, — Вейтлинг показал на голову и на ноги, — будут содействовать каждому индивидууму, чтобы сообразно равным для всех условиям было обеспечено удовлетворение всех потребностей человека. Каждому будет гарантировано полное наслаждение своей личной свободой. Этот же мир, — обвел Вейтлинг рукой, указывая на стены, — подлежит разрушению. В нем хаос и насилие.

— Вейтлинг! Вижу в вас автора чудеснейшей книги! Но не соглашаюсь, нет.

Вейтлинг перебил дрогнувшим голосом, проговорил скороговоркой, — Знаю заранее, что вы скажете, что нельзя итти к счастью через кровь и насилье, что нужны иные меры. А я вам говорю, — закричал Вейтлинг, вдруг наступая с яростью, почти с бешенством, — что для победы иного пути нет! Надо раскалить, разжечь всеми средствами, живущее в бедных недовольство, чтобы оно вырвалось пламенем, спалив без остатка современный строй и его людей. Мы коммунисты и бедные классы, мы поднимем для этой цели грабителей, нищих, преступников, каторжан, создадим армию отчаявшихся, которым нечего терять, и двинем их на мещан, богачей и аристократов!

Отвалясь, в заскрипевшем под могучей спиной кресле, Бакунин, улыбаясь, махнул рукой.

— Что? — спросил Вейтлинг.

— Не знаю, за кого вы меня принимаете, что так страстно проповедуете ваши революционные меры? Я вовсе не о том, все это нужно и, конечно, правильно, — Бакунин встал, заходил, сгибаясь по комнате — да дело то не в мерах, дорогой Вейтлинг, а в целях. Ваша цель — коммунизм?

А где его происхождение? Общественный порядок на западе сгнил, он едва держится болезненным усильем, этим и объясняется та невероятная слабость и тот панический страх, которым полны современные государства. Куда бы в Европе не оглянулись — везде дряхлость, безверье, разврат, происходящий от безверья, начиная с самого верху общественной лестницы. Ни один человек, ни один класс не имеет веры в свое призванье и право, все шарлатанят друг перед другом и ни один другому, даже самому себе, не верит. Привилегии, классы и власти едва держатся эгоизмом и привычкой, это слабая препона против возрастающей бури. И тут, в гибели этого строя, в гибели этого мира вы, конечно, правы. Lust der Zerstörung ist zugleich eine schaffende Lust, сказал я в моей статье «Партии в Германии».

— Как? — поразился Вейтлинг, — Вы Жюль Элизар?

— Моя, моя, — отмахнулся Бакунин, — но дело не в этом, а в том, что вы не понимаете откуда проистекает природа коммунизма! Она проистекает столько же сверху, сколько и снизу. Внизу, в народных массах она растет и живет, как потребность неясная, энергическая, как инстинкт возвышенья. В верхних классах, как разврат, эгоизм, как инстинкт угрожающей, заслуженной беды и неопределенный беспомощный страх. Беспрестанный крик против коммунизма более способствует распространенью его идей, чем ваша собственная пропаганда. Этот неопределенный, невидимый, неосязаемый, но везде присутствующий коммунизм, живущий во всех без исключенья, в тысячу раз опаснее для современного общества, чем определенный и приведенный в систему, который проповедуете вы в тайных и явных коммунистических обществах. Ваша сила идет с двух сторон, Вейтлинг! Это великая сила! Но вы не правы в конечной цели. Она — коммунизм — просто напросто логическая натяжка. Прекрасное средство пропаганды среди бедных классов, коммунизм, как революционная цель, — вредная бессмыслица.

Вейтлинг хотел перебить, но Бакунин не дал, протянув руку.

— Постойте, ну, возьмем, положим, вы осуществили коммунизм, и вместо российской империи — коммунистическое государство, вместо германских княжеств, королевств и герцогств — сплошные коммуны! Так что же вы думаете, вы сделали людей, именно бедные то классы, сча-

стливее, оттого что создали над ними не царскую и не княжескую, а свою собственную опеку? О, нет, Вейтлинг, — хохотнул Бакунин властно, свысока, — вы правы только пока вы боретесь, лишь только вы победили, бедным классам надо тут же начинать бороться с вами, за те же лозунги свободы и жизни! Ведь общество, устроенное по вашему плану представит собой не живое объединение свободных людей, каким общество должно быть, а организованное с помощью принужденья и насилия стадо животных, которыми вы, Вейтлинг, или другие начнут командовать и управлять по своему усмотренью! Ваше коммунистическое общество, преследующее исключительно материальные интересы, неизбежно задавит все то духовное, что растет только на свободе отдельных личностей, вне пространства и времени. Я ненавижу коммунизм потому, что он есть отрицание свободы и потому, что для меня непонятна человечность без свободы. Ваше насилье, Вейтлинг, если оно когда нибудь осуществилось бы, было бы чудовищным! Поэтому-то в устроенном по вашему плану государстве у меня нет охоты жить также, как в государстве царя Николая. Но, к счастью людей, ваша цель и ваша идея, всего навсего, есть логическая нелепость!

Вспотевший, неубежденный, взволнованный Вейтлинг вскочил, но Бакунин снова не дал перебить, заговорил быстро.

— Что же касается люмпен-пролетариата, что это самый революционный элемент теперешнего общества, что в них, а не в зажиточных слоях рабочих весь пафос разрушенья и нужные новому миру силы — вы правы. Именно люмпен-пролетариат нужно двинуть вперед волной возмущенья старым порядком и старым миром, чтобы эта безжалостная армия беспощадно смела до тла, сожгла б и изрубила старый мир! Она не подчинится вашей власти, также, как не хочет подчиниться власти теперешних королей. Это армия протестантов свободы ,певцов вечного протеста, ножа и пожара, говорит о другой потребности человечества, о потребности бескрайней свободы и воли. И вот такая революция придет в мир, именно такая, смывающая все старое, воздвигающая на пепелище новую, молодую, совершенно свободную, простую и прекрасную жизнь!

— Постойте! — закричал Вейтлинг страстно. Бакунин

вытащил луковицу часов, бесцеремонно смеясь, похлопал Вейтлинга по плечу, громадной, львиной рукой.

— Нет, нет, с вами общая дорога у меня, Вейтлинг, не до конца, но ладно, довольно, поговорим в другой раз, приходите ко мне на озеро, за бутылкой вина и потолкуем. — Бакунин пошел к двери.

Прощаясь, как бы отказываясь прийти, Вейтлинг сказал.

— Я не пью.

— Напрасно. А я люблю выпить в хорошей компаньи. Ну, по крайней мере покурим сигары.

— И не курю, — засмеялся Вейтлинг, — но я приду к вам все-таки.

— Ладно, только не запрещайте, Бога ради, в вашем будущем обществе вина и табака, а то такая у вас разведется скучища! — хохотал в сенях низкого флигеля Бакунин, пока Вейтлинг отпирал дверь.

Взглянув на небо, на звезды, идя по двору, — Чудно! — сказал полным голосом Бакунин.

7

Распустив поводья, Николай ехал верхом по площади к Летнему саду, к Марсову полю, наблюдать репетиции майского парада. Такой молодцеватой посадки, как у императора, трудно было сыскать в кавалерии. Громадность его фигуры скрадывалась громадностью гнедой кобылы.

В широкой, поперечной аллее кобыла стала. Под тяжелым императором окаменела, как постамент, не прядя даже ушами. Император с седла наблюдал репетиции.

Робея, приближались петербургские щеголихи, гулявшие на утренней променаде, к верховому императору. Цветным кругом обступили. И вдруг наклонясь к близкой, в голубоватом капоре, Николай, приветливо улыбаясь, сказал:

— Кто ж, сударыня, вам больше нравится, гусары иль кавалергарды?

8

В вальсе, в польском, в контр-дансе, в кадрили зашелестели цветными петуньями дамы на балу князя Юсупова, в любимом доме императора. Рубенсовского тела прекраснейшая из красавиц, любовница Николая, Варвара Нелидова шутила с Бенкендорфом; Наталия Пушкина-Ланская, Апраксина, Долгорукая, Бутурлина — рой русских краса-

виц. За ломберными столами старички дуются в вист, в ералаш. В бильярдной режутся морские офицеры.

Генерал Бенкендорф в голуби мундира, белизна чулок, аксельбанты; только небодры руки, подрагивают в белых перчатках. Нездоров генерал, хоть и улыбается с фрейлиной Нелидовой и графиней Нессельроде, превзошедшей всех женщин уродством и оголенностью старых плечей. Карлик вице-канцлер семенит с его величеством. Но дан высочайший знак и Бенкендорф заскользил по паркету.

— Хотел спросить, Христофорыч, — отведя, проговорил император, — как дело с этим, отставным прапорщиком Бакуниным?

От царя отошли граф Нессельроде, граф Канкрин, князь Волконский.

— Серьезнейшая продерзость, ваше величество, поступило донесение...

— Как? — Брови, светлые, широкие свелись, потемнели красивые глаза. Николай остановился, за рукав голубого мундира придерживая Бенкендорфа.

— Прикинувшись согласным вернуться, бежал неизвестно куда, везде производит волнения, вступая в общение с заговорщиками.

— Завтра доложишь.

Наискось, почти визави, графиня Нессельроде посадила семнадцатилетнюю цыганскую Пален. Но за ужином не глядят водянистые глаза царя на семнадцатилетнюю красоту. И раньше обычного коляска, запряженная вороными рысаками, отъехала от особняка князя Юсупова в Зимний дворец.

9

В любимой позе, заломив за спину руки, Николай поджидал Бенкендорфа. Николай не представлял, чтоб его выраженной воле, кто-либо смел не подчиниться. В такие минуты вставало все пережитое в те четверть часа на Дворцовой площади с «amis du quatorze». Злоумыслы? Революции? Мятежи? Люди хороших фамилий опять превращаются в якобинцев?

Бенкендорф вошел, более обычного усталый.

— Что ж он заявил, эта сволочь, эта бестия? — с места закричал, поворачиваясь к генералу, Николай, — Не возвращаться ко мне, когда я приказываю?!

Давненько не видывал генерал, это не гнев, а гневище! Это буря, Николай ходил, чтоб несколько успокоиться.

Доклад обстоятельный шел со всеми мелочами, как любил царь.

— Где, где учился? В артиллерийском? Стало быть лично меня знает, сукин сын! — перебил, останавливаясь, Николай. И снова заходил.

— Бакунин! Подумай, какая фамилия! Капитан Бакунин дал первый залп из пушки 14-го декабря по преступной сволочи! А этот революционером стал, достойным уже сейчас виселицы!

— Двоюродный племянник капитана Бакунина.

Николай промолчал. Бенкендорф читал сведения тверского губернатора о семье.

— Деньги посылают мерзавцу.

— Никак нет, ваше величество, меры приняты. Денег из России не пойдет, хоть и были попытки.

— Ни копейки, — бормотнул Николай.

Бенкендорф перешел к донесениям российского посланника при прусском дворе, барона Мейендорфа, к докладу бернского посольства: — «. . . вышеупомянутый, прапорщик явился самолично в бернское императорское посольство для визирования паспорта на проезд в Мангейм и, в имевшем быть разговоре, признал себя виновным по первому пункту, то-есть, что был в сношениях с коммунистами, что же касается брошюры о Польше, решительно отрицал свое авторство и даже знание о ней. Кроме того, заверил *честным словом,* что никогда не принадлежал ни к какому тайному обществу и что поддерживал связь с коммунистами лишь, чтоб ознакомиться с идеями породившими эту секту, но не разделял их. Тем не менее прилагаемыми копиями донесений агентов швейцарской полиции и агентов III отделения его величества канцелярии установлено, что названный Бакунин поддерживает сношения с самыми радикальными элементами, стремящимися перенести свою деятельность за пределы Швейцарии для ниспровержения правительств и существующего строя. Объявленное ему, Бакунину, приказание о немедленном возвращении на родину и в случае неисполнения сего, об ответственности по всей строгости законов, он принял с должным уважением и выдал в объявлении ему сего прилагаемую, собственноручную расписку, заверив *честным словом,* что вернется на

родину незамедлительно, заграничный же паспорт обещал тотчас же вернуть по возвращении своем из Мангейма, дав в сем также честное слово. Но уж на следующий день посольством нашим было получено прилагаемое при сем, письмо Бакунина, с сообщением о невозможности ему вернуть паспорт, нужный для дальнейшей поездки в Лондон. Мною незамедлительными депешами были извещены миссии российского императорского двора в Карлсруе и Франкфурте на Майне о том, чтобы при появлении там названного Бакунина у него был бы незамедлительно отобран заграничный вид на жительство, но в названных миссиях Бакунин не появлялся, вероятно, проехав иным путем. . »

Чем ни дальше шло чтение ,густей темнел Николай, продерзостный поступок против него казался даже не преступлением, а помешательством!

— Снюхался с поляками, — захохотал негнущимся тенором, — что ж, воевать со мной хочет? Достану и заграницей! — крикнул он. — Сообщи Нессельроду, приказываю, чтобы все наши миссии и посольства незамедлительно уведомили правительства всех земель о том, что эта личность вредна не только мне, но всем правительствам своей агитацией и пропагандой. Бакунина ж лишить всех прав состояния, заочно приговорить к ссылке в каторжные работы, в Сибирь, с тем, чтоб именье теперь же взять в секвестр. Пусть министр юстиции войдет с предложением в сенат. Понял? Выреши на месте, с кем был знаком и есть ли тут сообщники?

— Приступлено, ваше величество.

По прошествии получаса, отпуская любимца, подавив гнев, Николай сказал.

— Как здоровье? Что такой бледный? Смотри, смотри, без тебя мне со всей этой гадиной не справиться, съездил бы отдохнуть в Эстляндию к себе, а?

— Неотложные дела, государь, знаете, как положиться на кого другого.

— Ну-ну, я подумаю. А об этом негодяе докладывай незамедлительно, как что поступит.

10

Дело отставного прапорщика артиллерии Бакунина, судимого за невозвращение в Россию, от министра юстиции графа Панина пошло в санкт-петербургский надворный уголовный суд; из суда в уголовную палату, из палаты в

правительствующий сенат; всеподданнейший доклад сената пошел на представление государственному секретарю; государственный секретарь представил на мнение соединенных департаментов государственного совета, гражданского и законов; государственный совет, в соединенном заседании департаментов постановил заключение по докладу правительствующего сената об отставном прапорщике артиллерии Михаиле Бакунине: — «сего подсудимого, согласно с приговором сената, лишив чина, дворянского достоинства и всех прав состояния, в случае явки в Россию, сослать в Сибирь, в каторжные работы, а имение его, каковое окажется где-либо ему собственно принадлежащим на основании 271 ст. XV тома Свода Законов Уголовных взять в секвестр».

На заседании соединенных департаментов государственного совета присутствовал усталый генерал Бенкендорф. Сидел в заднем ряду, позевывал, прикрывая ладонью рот; глядел на свои шевровые сапоги; от чтения первоприсутствующего члена закрывал глаза, как бы в дреме. По окончаньи, не прощаясь ни с кем, выехал в Зимний дворец. Николай на постановлении написал: — «быть по сему».

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Квартира на рю Годо де Моруа № 9, откуда слышалась музыка, была проста. В передней комнате — диван, два кресла, стол и рояль, на котором импровизировал светловолосый молодой человек. Под его музыку, во второй, полупустой комнате, где не было ничего кроме складной, чересчур размеристой кровати, цинкового бокала на столе, да двух горшков гиацинтов на подоконнике, — несмотря на двенадцатый час, спал громадный, черный Бакунин, завернувшись с головой в одеяло.

Сквозь растворенное окно видно: в дворике цвел жасмин. В передней комнате, разносясь, гремела фантазия Рейхеля. Бакунин не борол привычки поздно вставать. Хотя тут, пожалуй, это и не была слабость характера, а необходимость отдохнуть от парижского воздуха. Великое дело, этот воздух! Во все этажи, подвалы, чердаки, бельэтажи, трубы, щели дует свободой, революцией, карманьолой. Мещане конопатят дыры, запирают ставни. Богемьенам

же, гулякам навевает парижский воздух веселые мысли. Но парижская жизнь с кабачками и кофейнями, множеством газет, спорами, излишним вином, трубочным дымом — нелегка. Хорошо еще на рю Годо де Моруа, а раньше от безденежья спал Бакунин в редакции немецкой эмигрантской газеты «Vorwärts», в комнате совещаний.

2

В двенадцать зашевелилась размеристая кровать под потягивающимся телом; Бакунин выпростался из под одеяла мускулистыми руками. За стеной падающими звуками летело рондо Моцарта, словно рассыпалась звучащая дробь.

Заломив за голову голые руки, Бакунин улыбнулся вовнутрь: «божественно играет Адольф». Но звуки оборвались, на пороге Рейхель, легкий, изящный, возбужденный музыкой, смеялся:

«Auf! Bade, Schüler, unferdrossen
Die irdische Brust in Morgenroth!»

Бакунин зевнул, львиной пастью выпуская неясные звуки.

— Скажи-ка лучше, как у нас с деньгами, Адольф, я вчера последнее заплатил у «Paul Niquet» за Сазонова; черт знает, Рейхель, когда мы будем приличные люди? — Бакунин перевернулся на затрещавшей всеми суставами постели. — Обещают мне урок русского языка во французской семье по семь франков, но это не хватит даже на цигаретки.

— Если твои скифские силы окажутся плохи и мы не дотянем до всемирного извержения, — смеялся изящный, зеленоглазый Рейхель, — то придется вероятно садиться в тюрьму.

Рейхель высунулся в окно, в палисадник. Плавал солнечный ветер и пахло жасмином. Бакунин, кряхтя, спустил ноги, взял носки, надевая, старался подвернуть дыры на пальцах, «черт знает что», бормотал под нос.

Неумытый, веселый, с смятыми курчавыми, по плечи вьющимися волосами, Бакунин, усмехаясь, качал головой.

— Без тебя, Адольф, я сдох бы в этом чудесном городе. Только не пойму, чего ты со мной мечешься: женат, счастлив, это я, брат, бегаю, пытаюсь все ожениться на своей мадам Революции, — хохотал грудным смехом Бакунин, идя в кухню умываться. Рейхель обернулся, ласково глядя на неуклюжую фигуру.

3

У двери Бакунин услыхал незнакомые голоса, потом звонок, стук. Запахивая на широченной, волосатой груди халат, Бакунин отпер дверь. Вошли поляки, члены польской централизации — Станислав Ворцель, Иосиф Высоцкий, Иосиф Орденга. На их лицах Бакунин прочел удивленье.

— Не ошибаемся, мсье Бакунин, автор письма в «Ля Реформ»? — необычайно вежливо проговорил Ворцель.

— Совершенно справедливо, чем могу служить? Прошу пожалуйста, — растворил Бакунин дверь в комнату. Но, Боже мой, что за комната! Кресла друг к другу спинами; занавеси порваны; грязные полустаканы; непроветрено; сталкиваясь в дверях, поляки вошли за Бакуниным, говорившим раскатывающимся басом.

— Извините за легкий беспорядок, прислуга приходит неисправно, а у самого возиться нет времени.

— Пожалуйста, пожалуйста. — Ворцель сел напротив Бакунина, сказал по французски: — Мы ведь не для салонной беседы, мсье Бакунин. Мы члены польской централизации. — Бакунин кивнул головой, рассматривая упрямо-энергичного, с свисшими, седоватыми, польскими усами, графа Ворцеля, душу и пламя польского восстанья; много слыхал о графе Станиславе; знал: математик, лингвист, аристократ, отдал восстанью против России душу, тело, семью, средства; знал, что живет Ворцель нищенски, у француза в полуподвале, но выкован из стали этот столп польской революции.

— Я уполномочен, — говорил Ворцель, — передать вам привет польских деятелей самых различных направлений. Ваше выступление от всего сердца привествует князь Адам Чарторийский, Алоизий Бернацкий, члены централизации, наша молодежь и мы пришли к вам предложить выступить на нашем банкете, в память варшавского восстанья 31 года против Николая.

Высоцкий и Орденга рассматривали Бакунина; на лицах смесь удивления, любопытства и недоверия.

— Что ж, — раскатисто заговорил Бакунин, — я разумеется, согласен; как русский, я люблю свою страну и как раз, именно поэтому горячо желаю торжества поль-

скому делу, ибо угнетенье Польши это позор моей родины, свобода же Польши послужит началом и нашему освобожденью. Я рад польско-русскому сближению революционных элементов от всей души. Передайте мой сердечный привет централизации, пану Алоизию Бернацкому, которого чрезвычайно уважаю и чту. Вы говорите, 29-го? Во французской гимназии на рю Сент-Онорэ 359?

— Так точно, — сказал Ворцель.

Поочереди пожимая полякам руки, Бакунин стоял в дверях, как лавина, громадина, одной рукой придерживая халат. Поляки сухие, корректные.

4

В зале гимназии на рю Сент-Онорэ 359 ожило сердце Польши, выброшенное Николаем из страны. Левые, члены «Демократического комитета»; «Молодая Польша» — Высоцкий, Орденга, прославленный поэт Уейский, автор хорала «С дымом пожаров», окружили графа Ворцеля. Централизация, молодежь тайных кружков, — бойцы за страну против России; писатель Медынский горячо кому-то доказывает, что Польша всегда защищала Запад от вторженья татар, турок, москалей и погибла, спасая Европу, в борьбе с москальским деспотизмом.

В первом ряду, старик Алоизий Бернацкий, в темно-коричневом сюртуке, нунций польской диэты, министр финансов времени революции.

С блузами, сюртуками слились правые патриоты; великолепный друг императора Александра, князь Адам Чарторийский, в синем фраке, окруженный дамами. Гул. Но душа зала, вкруг которого толпятся левые, правые, — живущий в сыром полуподвале, граф Станислав Ворцель. Левые недружелюбно косятся на первый ряд. Зачем пришли «товянщики», мистики, мессианцы? Что им тут, в воспоминаньях крови, восстанья, боя жизней за Польшу? Там странный философ Гене Вронский, и мечтательный, с необычайно бледным лицом, великий поэт Польши, Адам Мицкевич; он создает культ Наполеона, «величайшего духа после Христа». Мицкевич стоит с женщиной острого еврейского типа; в его сторону усмехается поэт Уейский.

5

На трибуну, обвитую красной материей, с яснобелым, польским орлом, поднимались ораторы. Белый орел казался летящим, воздушным. Речи музыкальны, даже не речи, поэмы, баллады, песни. Страстный пафос проклятья, мести, фанфары, звуки восстанья. Высоцкий, Бернацкий, Орденга, Медынский, к белому орлу на красном фоне поднялся Ворцель под оглушительную бурю зала.

Страстный, стальной заговорил, затрепетал зал любовью к отчизне, местью, гневом. В первом ряду, необычайно бледный Мицкевич закрыл лицо руками. Плачет. Оглянулись близкие. Смуглая женщина, склонясь к нему, что-то шепчет.

Громом, разряжением такой энергии оборвалась речь Ворцеля, что колыхнулся зал и отчаяньем грянула тысячеголосая «С дымом пожаров». Под потолком задрожал высокий, драматический польский тенор. Собранье двинулось к выходу, но смешавшийся зал остановил голос Ворцеля.

— Господа! Собранье не кончено! Слово последнего оратора, нашего русского друга, Михаила Бакунина!

И тут же в сметшийся, разорвавшийся зал из распахнувшейся двери на самодельную трибуну, к яснобелому польскому орлу, резкими шагами, бурно и широко поднялся Бакунин. Бледен. Кто знал, понял бы, как сильно волнуется. На трибуне стоял громадный, в черном, глухом сюртруке, черном галстуке, черный и бледный.

Бурю не сразу остановишь; зал приходил в себя медленно. Ворцель кричал: — Прошу тишины! — Бакунин опершись о кафедру, опустив голову, ждал. Напрягаясь и замирая, тишина с трудом вошла в зал. Голосом, соответствующим его физической мощи, Бакунин начал свою речь.

— Я русский, — звучал низкий голос Бакунина, — и прихожу в это многочисленное собрание, которое сошлось, чтоб праздновать годовщину польского восстанья, и которого одно присутствие здесь есть уже род вызова, угроза и как бы проклятие, брошенное в лицо всем притеснителям Польши!

Может необыкновенная внешность молодого, полного сил Бакунина, заставила аудиторию замереть, вслушиваясь в бросаемые быстрым басом слова? Слыша свой голос в тихом зале, Бакунин несся в охватившем его подъеме, чув-

ствуя, как ложатся и все крепче пролегают скрепы к слушателям, а по скрепам катится страсть, воля, душа, вся мятежность. Взмахивая любимым жестом сжатых, длинных пальцев правой руки, Бакунин бросал в замерший зал слова о родине, о России:

— Имя русского повсюду является синонимом грубого угнетения и позорного рабства! Русский во мнении Европы есть ни что иное, как гнусное орудие завоевания в руках наиненавистнейшего и опаснейшего деспотизма! Господа, не для того, чтобы оправдывать Россию от преступлений, в которых ее обвиняют, не для того, чтоб отрицать истину взошел я на эту трибуну! Истина становится более чем когда-либо нужной для моего отечества!

Это было странно после польской нежности к отечеству; аудитория затихла, затаилась. Славянская речь, но непонятная и неродная, повелительная пафосом нелюбви. Это стихия, уносящая в бесконечную сладость бунта, отчаянья, разрушенья.

— Итак, да! Мы еще народ рабский! У нас нет свободы, нет достоинства человеческого! Мы живем под отвратительным деспотизмом, необузданным в его капризах, безграничным в его действиях. У нас нет никаких прав, никакого суда, никакой апелляции против произвола; мы не имеем ничего, что составляет достоинство и гордость народов! Нельзя вообразить положенья более несчастного и более унизительного. Будучи пассивными исполнителями мысли, которая для нас чужая, воли, которая также противна нашим интересам, как и нашей чести, мы страшны, ненавидимы, я хотел бы даже сказать, почти презираемы потому, что на нас повсюду смотрят, как на врагов цивилизации и человечества! Наши повелители пользуются нашими руками для того, чтоб сковать мир, чтоб поработить народы и всякий успех их есть новый позор, прибавленный к нашей истории!

Может аудитория была поражена? Может быть настало болезненное онемение? Аудитория не сводила глаз; Мицкевич из угла первого ряда устремленно, напряженно глядел на оратора, словно не понимая, словно перед ним стояло невозможное, невероятное, прекрасное.

— Россия сделалась поощреньем к преступленью и угрозой всем святым интересам человечества! Русский в

официальном смысле слова, значит раб и палач! Вы видите, господа, — перевел дух и голос Бакунин, как бы остановившись от душившего его шквала, — я вполне сознаю свое положение и все-таки являюсь здесь, как русский, не несмотря на то, что я русский, но потому что я — русский!

Бурно с задних рядов, от молодежи, словно птицы бури взлетев, ударили крыльями, раздались аплодисменты и прокатились по залу овацией. Князь Адам Чарторийский, Бернацкий, Ворцель аплодировали, но сильней всех зааплодировал Мицкевич.

— В святой войне, вы, казалось, развили, истощили все, что великая польская душа содержит в себе энтузиазма! — Громовые аплодисменты покрыли голос, заглушив Бакунина, жестикулировавшего в их буре. Но голос стал снова слышен сквозь замолкающие аплодисменты . . . — Но подавленные численностью вы упали. Годовщина 29 ноября для вас не только великое воспоминанье, но еще и залог будущего освобожденья, будущего возврата вашего в ваше отечество! Я являюсь перед вами не только, как русский, как кающийся, я осмеливаюсь провозгласить в вашем присутствии мою любовь и мое уважение к моему отечеству, я осмеливаюсь еще более, осмеливаюсь пригласить вас на союз с Россией! Но здесь я должен объясниться, я знаю, что вам предлагали подчиниться царю, отдаться ему душой и телом, вполне, без условий и оговорок. И будто тогда, ваш господин станет вашим братом. Вашим братом, господа, слышите ли вы, император Николай вашим братом! — воскликнул Бакунин!

— Нет, нет! — раздались ответные крики зала и пронеслось живое движенье, смятое тишиной.

— Угнетатель, раб, враг, палач стольких жертв, похититель вашей свободы! — Голос уже охрип, слишком не жалел выкриков, слишком был увлечен, слишком подымали несдерживаемые выкрики зала. Но Бакунин понимал, что только сейчас подходит к главному, только сейчас он через этот зал, наполненный поляками, закричит на Неву, Николаю, бросая вызов из Европы. Бакунин знал, что вызов будет услышан и он станет в открытый бой с ним, Николаем Романовым.

— Россия это анархия со всеми видимостями порядка! Под внешностью иерархического формализма, крайне строгого, скрываются отвратительные раны: наша администра-

ция, наша юстиция, наши финансы, все это одна ложь! Ложь, чтоб обмануть заграничное мненье, ложь, чтоб усыпить чувство безопасности и сознанье императора, который поддается ей тем охотнее, чем действительное положение дел его более пугает. Это наконец организация, обдуманная и ученая, несправедливости, варварства и грабежа — потому, что все, начиная от тех, которые занимают наивысшие должности до самых мелких, разоряют, обкрадывают страну, совершают несправедливости самые вопиющие, самые отвратительные насилия без стыда, без малейшего страха, публично среди бела дня, с нахальством и грубостью беспримерными, не давая себе труда скрывать свои преступления перед негодованием публики, они уверены в своей безнаказанности! Правительство, которое кажется таким импозантным извне, внутри страны бессильно; ничто ему не удается, все преобразования, которые оно предпринимает, тотчас же обращаются в ничто! Имея опорой только две самых гнусных страсти человеческого сердца — продажность и страх, действуя вне всех национальных инстинктов, вне всех интересов, всех полезных сил страны, правительство России ослабляет себя каждый день своими собственными действиями и расстраивает себя! Оно волнуется, кидается с места на место, переменяет ежеминутно проекты и идеи, оно предпринимает сразу много, но не осуществляет ничего. У него есть одна только сила — вредить, и ею оно пользуется широко, как будто оно хотело бы само ускорить минуту своей гибели. Чуждое и враждебное стране, посреди самой этой страны оно отмечено для будущего падения.

Враги его повсюду, во-первых это страшная масса крестьян, которые не ждут от императора своего освобождения и которых бунты с каждым днем показывают все более, что они устали ждать. Далее — интеллигенция — класс промежуточный, очень многочисленный и состоящий из элементов различных, класс беспокойный, буйственный, который бросится со страстью в первое революционное движенье. Наконец и особенно, это бесчисленная армия. Во всех последних крестьянских бунтах отпускные солдаты играли главную роль, они питают неугасимую ненависть к правительству! Ах, верьте мне, право, элементов революционных достаточно в России! Она волнуется, она оживляется, она считает свои силы, она узнает себя, сосредота-

чивается и минута не далека, когда буря, великая буря, наше общее спасение поднимется!

Тут показалось, рухнул зал от рукоплесканий, криков, бури восторга; с задних рядов все вскочили, стоя, аплодируя, словно хотели разглядеть лучше русского, кто так громит Николая. В громе овации Бакунин стоял, опустив голову, ожидая затишья. Он уже видел их всех побежденными и чувствовал то спадение ораторского чувства, выпадение из себя материала, которое подсказывает «сейчас конец речи» и успокоение. Удовлетворенно знал, зал его, весь, полностью, побежден и ни один оратор не завладел им так, как сейчас Бакунин, видел на себе сотни глаз, сотни плещущих, как крылья, ему рук.

В наступившей тишине Бакунин заговорил о той новой России, которая придет на смену, заговорил и о своей любви к России:

— Вы простите мне, господа, эту минуту невольной гордости Россией. Русский, который любит свое отечество, не может холодно говорить о нем.

Это было странно, эта стыдливость, это «прощение» в зале, где так пламенно, самозабвенно пелась любовь к отечеству; но может быть просьба о прощении любви была даже сильней фанфар, симфоний, поэм, рукоплесканий.

Живое согласие задвигалось в зале.

— Примирение России и Польши, дело огромное и достойное того, чтобы ему отдаться всецело. Да, наступит же великий день примирения, день, когда русские, соединенные с вами одинаковыми чувствами, сражаясь за ту же цель и против общего врага, получат право запеть вместе с вами вашу национальную польскую песнь, гимн славянской свободы, «Еще Польска не сгинела!»

И песня грянула. Бакунин сходил с трибуны в песне, в громовой овации; остановился на ступеньках; из рядов бросились. Бакунин видел слезы женщин. Бакунина окружили Ворцель, Бернацкий, Медынский, Высоцкий, Орденга. Смутно различал возгласы удивленья, одобренья, радость, восторги; они все в эту минуту были его, Бакунина. Власть в гимназическом зале на рю Сент Онорэ была его, неколебима. Бакунин пожимал бесчисленные руки, сильные, слабые, мужские, женские, идя в окружении толпы к выходу. Выходя из дверей гимназии, Орденга проговорил Высоцкому: — Бакунин говорит, как демон.

6

— Михаил Александрович! — проговорила Полудинская, останавливаясь как бы в нерешительности: входить ей или нет. — Не ждали?

— Не ждал — проговорил Бакунин, — хоть и получил ваше письмо, а не ждал.

Полудинская одета изящно, в темновишневом, шелковом манто, на шляпе белорозовое птичье крыло; лицо в темной вуали; в руке зонтик. Бакунин помог снять манто, проводил в комнату, называвшуюся гостиной. Входя, Полудинская, улыбаясь большими вздрагивающими глазами, оглядела все: — покривившиеся багеты картин, хаос сборной, бедной мебели, и пыльное открытое пьянино с оставшимися на пюпитре нотами, на столе недопитые стаканы и немытая посуда от обеда.

— Угостил бы вас кофе, Мария Ивановна...

— Нет, нет, полноте, — засмеялась Полудинская, — куда уж там, знаю, какой вы хозяин. А ведь я не надеялась, что застану вас в Париже.

Бакунин ходил; Полудинская села в кресло, шляпы не сняла, приподняв только с подбородка вуаль. Было ясно, что разговор еще не начинался, это только вступление, неловкое, и сковывающее обоих.

— Видала в Дрездене Рейхеля, — сказала Полудинская, — он передавал о вашей речи у поляков. В Дрездене об этом много говорили. А я волновалась, Михаил Александрович, не знаю почему, — засмеялась Полудинская, — вы представляетесь мне все ребенком, играющим с огнем.

— Ребенком? — остановившись, хохотнул Бакунин, глядя на Полудинскую не то с ласковой, не то со снисходительной усмешкой.

Потом в комнате родилось молчание длительное и странное.

— Вот я вам недавно писала, — потупясь, заговорила Полудинская первая, — а сейчас желанье взять это письмо назад.

— Почему? — садясь на диван, разваливаясь, прикрывая колено полой сюртука, проговорил Бакунин.

— Не понимаете? — повернулась Полудинская в пол-оборота, — Я ведь не знала *что* буду писать вам, когда брала перо. Казалось, сумею высказать перед вами все и,

главное, вы меня поймете, а вот увидела вас и холодно, и страшно, и все кажется никчемным, — грустно улыбалась Полудинская, перебирая бахрому скатерти на столе. — Разве, Михаил Александрович, не больно сознание, что вот я могу жить, могу умереть, могу радоваться и страдать и все это не произведет ни малейшего движения в вашей душе, и ни в чем не изменит вашего существования, даже одного вашего дня?

— Я вам сделал, быть может, много неумышленного зла, — проговорил Бакунин, — но я хочу только одного, чтобы вы поняли, что это зло — безвольное, не активное, нам вероятно просто не суждено найтиться друг в друге. А может быть и мне не суждено вовсе любить. — Бакунин оживлялся, если б слушать со стороны, то казалось бы, что говорил он, словно не о себе и Полудинской, а о ком то третьем, теоретическом человеке и теоретической женщине. Полудинская под вуалью подняла на него большие, вздрагивающие глаза, было даже неясно, понимала ли она Бакунина или только слушала его голос.

— К чему ж от вас скрывать, Мария Ивановна, раскатывался мощный бас, — меня трудно любить, сам знаю это, есть в душе что то неразрешенное и на дне постоянная тяжесть. Может и не найдется человек могущий снять ее. Я говорю вам прямо, потому что считаю вас своим другом, к чему нам всякие фразистые изъявления любви? — Поднявшись, помахивая трубкой, Бакунин заходил по истрепанному, когда то в странных, пестрых разводах, ковру.

Полудинская сидела, уставясь в то место дивана, с которого встал Бакунин.

— Михаил Александрович, — сказала тихо, — о, я вас слишком хорошо понимаю, но мне порой становится жалко одного, что вы не ощущаете, не слышите силы моего чувства. Это чувство не эгоистическое, нет. Я не только бы ради вашего счастья, нет, ради вашей безопасности, ради сохранения вашей жизни мечтала бы отдать все силы свои, чтобы нашлось то существо, которое поняло бы вас совершенно и было способно любить вас так, как вы заслуживаете. Поверьте мне, — оживляясь, заговорила Полудинская, — что бывали минуты, о, эти минуты были для меня истинно адские! — воскликнула, как бы что то припоминая, — когда я желала, если б это было возможно, купить всеми

самыми ужасными несчастьями власть уничтожиться самой и своею смертью дать жизнь новой женщине, которая могла бы встать с вами вровень и быть вашим ангелом-хранителем, в эти минуты я хотела бы обладать могуществом Бога...

Бакунин незаметно ухмыльнулся в темные усы.

Полудинская приходила в то состояние раздражительных порывов, когда уж плохо владела собой, это бывало многократно в Дрездене и всегда вызывало в Бакунине чувство внутренней неловкости. Откинув на кожаное кресло голову, Полудинская говорила:

— Я не знаю почему в самый первый раз ваше присутствие произвело на меня действие, в котором я никогда не буду в состоянии разобраться. Это был хаос, — тихо сказала, как бы не Бакунину, а в пространство, — разверстая пропасть чувств и идей, которые меня потрясли. О, это потому, что ваши сердце и голова, это такой лабиринт, в котором, не скоро найдешь путь, они словно полны огня и искры, летящие от них, воспламеняют другим сердце и голову. Ах, Боже мой, Боже мой, что я говорю, — вдруг громко рассмеялась Полудинская, — ведь вы скажете, она с ума сошла! Ну смейтесь, смейтесь над моей экзальтированной экстравагантностью, а что же мне говорить, если я хочу и даже не могу передать вам все мои безумные мысли. Но я хочу знать только одно, скажите, как на исповеди, мне всю правду, — неужто вами не владело никогда это чувство любви, такое же страстное, как вся ваша огненная натура? Das kann ich nicht begreifen! — проговорила внезапно, чуть раздраженно Полудинская.

— Чувство любви? — снова садясь на диван, закидывая громадную, слоновью ногу на ногу, проговорил Бакунин. — Может быть его и не испытал еще, хотя не думайте, Мария Ивановна, чтобы во мне совершенно исчезло желанье этого чувства. О, нет! Оно бывает иногда содержанием очень милых фантазий, — засмеялся Бакунин, — но, во-первых, я не даю слишком много воли своей фантазии, потому что она не должна преобладать в жизни, а вовторых смотрю на любовь, как на невинную забаву; втретьих же для развития любви необходимы некоторые благоприятные обстоятельства, а мои теперешние и внешние и внутренние нисколько тому не благоприятствуют, —

хохотал громко с оттенком юмора Бакунин. — У меня есть интересы важнее всех частных интересов и раньше удовлетворения главной моей потребности, для меня невозможно удовлетворение потребностей второстепенных. Я считаю, Мария Ивановна, что высшее счастье человека — деятельность, а не любовь. Человек вправду счастлив лишь, когда он творит.

Полудинская улыбалась красивыми губами, отрицательно покачала головой, но словно не хотела перебить речь, слушая голос.

— Вы не считаете? Оно может, конечно, это мужская доля, а природа женщины и не вынесет этой эксцентрической сферы?

— Нет, не вынесет! — засмеялась вдруг низким смехом Полудинская, — нет, Михаил Александрович, вы хорошо знаете мир политический, но дорогой друг, плохо знаете женщин. Ваш фанатизм теоретических мыслей без тени действительности никогда не заменит женщине полной любви с ее горячими взаимными принятием и приношением. И в то же время . . . и в то же время, — повторила Полудинская, — именно вы, Михаил Александрович, одно из тех существ, кому женщина хотела бы всем пожертвовать.

— Да-да, — прочищая трубку, как бы сам с собою сказал Бакунин, — человек странное и неуловимое существо. Впрочем, — поднял на Полудинскую смеющиеся, темноголубые глаза, — я ведь не прочь и от любви, только, чтоб она не мешала главному, а заняла б, так сказать, свое законное место! — хохотал на всю квартиру заливающимся смехом, — а если вот она захочет овладеть всем моим существом, тогда пардон, тогда ее в сторону! Ибо «ничто не должно выходить за пределы здравого смысла»! — хохотал Бакунин.

— Вот вы смеетесь, — перебила Полудинская, — и как будто веселы, вы вечно такой, по студентской привычке на-распашку, а мне кажется все, что все это ложь, что вы совсем иной, что когда вы сами с собой, вы полны одиночества, затаенности, человеческой ущербности, мне под вашей внешней экспансивностью всегда кажется, что вы несчастны. Это преследует меня, Михаил Александрович, я

помню вы как-то проповедывали в Дрездене о свободе разврата, что представлялось мне похожим на постоянное, открытое почесывание, а я вас слушала и одна меня сверлила мысль: — все это ложь, ложь, одни слова и нет у вас ни в чем счастья.

— И, полноте, Марья Ивановна! — замахал трубкой, заходил Бакунин. — Ну, эка мы с вами расфилософствовались! Счастье, счастье, а где это счастье, да и какое оно в этом безбрежном океане вечности? Дóлжно быть мудрым и готовым ко всему, а главное не позабывать, что «горе и счастье все к цели одной»; перед вечностью все ничто, голубка моя, все тщетно! Ну вот поговорили мы, а теперь пойдемте кофе пить в «Ротонду», я сейчас и ваше манто малиновое принесу.

Полудинская встала, тихо сказала что-то про себя, неразборчивое.

Когда они шли в кафе де ля Ротонд, она, смеясь, говорила:

— Если вы и ребенок, то такой, которого трудно водить на помочах, он эти помочи разорвет и разобьет себе при этом голову.

— Эээ, не так все страшно для «вашего ребенка».

Под руку они вошли в «Ротонду», где собиралась всесветная богема, где был Бакунин завсегдатаем. На них обращали вниманье, от столиков оборачивались, Бакунин раскланивался налево, направо; идя с Полудинской жестикулировал белой рукой, говоря громко, свободно, как путешествующий принц.

7

Приподнявшись со сна, Бакунин ничего не понимал: вошли трое мужчин и консьержка, гремя связкой ключей. По завитым усам, хватким глазам, цепкости движений, Бакунин догадался бы сам. Но, желая быть вежливым, вошедший расстегнул пиджак, показав полицейский шарф.

Квартира легко поддавалась обыску; открывали столы, шкафы, лазили под кровать, расшвыряли пепел камина. Бакунин указывал, что требовали. «Но неужто вышлют?» подумал, когда надевал брюки. Чувство отчаяния, усталости и тоски охватывало, душило.

— Возьмите вещи.

— Куда?

— В префектуру.

Бакунин сел вместе с полицейскими в карету с темными, занавешенными окнами, запряженную гнедой парой лошадей; дверцы захлопнулись, карета тронулась рысью.

8

Смугловатый, с кошачьими движеньями, чиновник, грассируя, читал приказ о высылке из пределов Франции за вредную спокойствию граждан деятельность. Бакунин протянул паспорт. Чиновник писал в паспорте, ставил печати, заносил в книгу.

Бакунин бормотал русские ругательства.

— Куда я буду выслан, мсье?

— Отправитесь на бельгийскую границу.

С чемоданом в руке Бакунин шел по унылому коридору. Пахло прелью, непроветренностью, старыми бумагами, сапогами, ваксой. Экипаж, запряженный худыми, мотавшими головами, лошадьми ждал во дворе. У кареты в широком плаще стоял жандарм; он сел рядом с Бакуниным, высунувшись в окно, крикнул кучеру:

— Поехали!

Гнедые лошадки тронули по пыльному двору; мимо окон плыли парижские улицы, Тюльерийский сад; навстречу прогарцевали гусарские офицеры и мужчина во фраке на белой лошади; возле бульвара поровнялись с ротой национальных гвардейцев в медвежьих шапках, белых брюках; лошади бежали труской рысью; выправляя ноги Бакунин вынул цыгарошницу, закурил; уходила панорама обоих берегов Сены, огромные, почернелые дома, дворцы на Кэ д'Орсэ; капризная, разнообразная архитектура парижских построек; мрачные стены Консьержери, темная масса Нотр Дам, Тюльери, Лувр, Сите, врезывающаяся баркой в Сену. Париж, с которым связано столько надежд, дорогой сердцу город, лучшее место в гибнущем Западе, где так широко и удобно гибнуть.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

В Санкт-Петербурге в эту зиму, снежную и искристую, не было конца вечерам, балам, маскарадам. Особливо маскарады любил император Николай, не пропуская их ни в театре, ни в дворянском собрании. Среди масок, полумасок появлялся всегда в пунцовом жупане линейного казака и каждая маска имела право взять под руку всероссийского императора в пунцовом жупане и ходить с ним по залам. Николая забавляло, что тут слышал он из-под масок множество отважных шуток, анекдотов и прочего, чего б никто не осмелился сказать монарху без щита маски. Но дам высшего общества находил император малосродными к игре маскарада. Раздавалось здесь до сотни билетов актрисам, модисткам и другим подобного разряда француженкам. Маскарады состояли из полонеза, разных кадрилей — индейцев, маркизов, швейцарцев и смешанных. Танцевали везде в Санкт-Петербурге; в отличие от государевых шли «bals des appanages» у князя Волконского, графини Разумовской, графини Лаваль, у Сухозанет. В Аничковом шли танцы дважды в неделю, чуть не затанцовались в пост. На масляной с утра — декольте, манш-курт. В пошевнях скакали на Елагин остров кататься с гор в «дилижансах». Мужики силачи в красных рубахах правят; сам государь с Нелидовой садятся в ковровые сани; в другие пошевни лезут флигель-адъютанты, фрейлины, генералы. За пошевни привяжут салазки нитью, одни за другие, усадятся, несутся вниз, как безумные, в снегу, в визге дам, в мужском хохоте.

На Каменном острову лужайку закидали снегом, делали тут крутой поворот, опрокидывались, взлетали сани, шум, смех, давка: шутка дело, пошевни запрягали шестериком; кучер Канчин в поту, душа в пятки уходит, спаси Господи, неудобно вылетит из саней государь. Но вылетали в снег; путаясь в серой, разлетающейся крыльями, шинели, выпрастываясь, валяясь вместе с «Аркадьевной», хохотал заснеженный царь Николай.

2

После фоль-журне у цесаревича шел в Зимнем дворце

лучший придворный бал. Сверх дипломатического корпуса, всей «maison militaire», генералов гвардии, министров, съезжались первые и вторые чины двора, члены государственного совета, статс-секретари, первоприсутствующие сенаторы департаментов и общих собраний. Съезжались тысячи белоснежных плечей и рук. Горностаи, соболя, шиншиля; сколько хлопот француженкам-портнихам, сколько французами-парикмахерами пожжено в завивке волос.

Шестериками с форейторами едут Санкт-Петербургом от французов-портных штатские и военные; заботы с подбоем, прибором, примерки, брани, благодарности. Все для февральской ночи высочайшего бала в роскоши Большого Фельдмаршалского зала Зимнего дворца на Неве.

Плывут в зимнем вечере звезды, лысины, перстни, плечи, прически, бакенбарды, ленты через плечо; едут огни карет, бьют бичи; скачут тройки в ковровых белых санях с бархатом отлета крыльев. Укутались в уфимские платки, заснежились от российской пурги щеголихи, страшно отморозить щечку. Стоя в престранных позах, чтоб не смять мундиров, едут в каретах пажи.

Созвездием люстр горит Большой Фельдмаршалский зал, отдавая блеск в янтарь паркета. Куранты играют девять, их не расслышать за вальсом; несется французский говор; шумом, музыкой, оживленьем наполнен не только зал, Помпеева галлерея, Арапская комната, даже в ротонде — везде пляшут. Генерал Эссен с великими княжнами уже ходил польское.

В девять громко распахнулись парадные двери; присели в глубоком реверансе дамы, склонились мужчины: — император, обер-церемонимейстер граф Воронцов, вице-канцлер граф Нессельроде, шеф жандармов граф Орлов, министр двора князь Волконский, военный министр князь Чернышев. Но волненье в качающемся общегенеральском мундире императора; лицо темно. Быстро, тяжело идет на середину Николай и не голос, а крик:

— Sellez vos chevaux, messieurs! La République est proclamée en France!

В белой перчатке — телеграфическая депеша. Николай повернулся к близстоящему, побледневшему князю Меншикову:

— Voilà donc une comédie jouée et finie et le coquin à bas!

Николай махнул музыкантам. С полутакта, как остановились, повели трубачи вальс. Но стучащими шагами, кивнув стоявшим блестящей кучкой, князю Волконскому, князю Чернышеву, графу Орлову, графу Нессельроду император вышел разъяренный, бормоча про себя что-то гневное.

В бальном зале образовались кружки; толковали о случившемся; смущенно и одиноко в стороне стоял французский поверенный в делах Мерсье де Лостанд.

— Quel affreux malheur, — сказал кто-то возле него.

— Високосный год взял таки свое! — громко проговорил нетанцующий, дородный дивизионный генерал Дохтуров, прозванный императором за толщину «мое пузо».

3

По Иорданской лестнице вниз, в кабинет спускался Николай; столбенели, замирали кавалергарды: очень гневен шаг; торопясь, сзади спешил кудрявый военный министр князь Чернышев. Дверь распахнулась под ударом руки, осталась открытой. Чернышев вошел и прикрыл дверь.

До кабинета долетали звуки польского и менуета. Императрица, растерянная, ходила в Аван-зале с Салтыковой; Салтыкова успокаивала.

Дверь кабинета растворилась только через час. Князь Чернышев вышел взволнованный; поднимался по лестнице, опустив голову; караул глазами провожал крепкосшитую фигуру министра.

У входа в танцевальный зал, заложив за спину руки, прохаживался, опоздавший фельдмаршал князь Паскевич. Увидав Чернышева, пошел навстречу, спускаясь по ступеням. Взяв за локоть министра, фельдмаршал сказал тихо:

— Что, ваше сиятельство?

— Поспорил с государем, — проговорил Чернышев, не глядя на Паскевича; они поднимались, блестя лентами и звездами.

— Хочет воевать, — сказал Чернышев.

— С кем?

— С французами, что прогнали короля.

— Но его величество не жаловал короля.

— Вот, подите, говорит, через месяц поставит на Рейн 300 000 войска. Я заметил, что войска у нас столько не найдется, чтоб на Рейн отделить 300 000, да и денег нет.

— Что ж государь?

— Как же, говорит, Александр вел такие большие войны, находились деньги? Государь запамятовал, — взволнованно проговорил Чернышев, — что тогда вели войну на чужие деньги, Англия осыпала субсидиями, а теперь попробуйте, попросите, дадут грош? Да и кому командовать армиями? — нарочито проговорил Чернышев.

Паскевич искоса взглянул на министра.

— Убедили государя?

— Нет, государь крепок, стоит на своем.

Никто не смел войти в кабинет; кабинет полутемен; горели две свечи. Николай ходил по кабинету в бешенстве; было трудно думать в этом бешенстве. Четверть двенадцатого остановился у амбразуры окна: «Если анархия перебросится на Германию, двину!», пробормотал и дверь распахнулась под ударом его руки. Николай стремительно вышел.

4

В Париж, в город великих революций, Бакунин вошел через Клиши, пешком на третий день республики. Бульвары залиты толпами вооруженных синих блузников, в красных шапках, опоясанных красными кушаками, на шляпах кокарды; все красно: шумят толпы, поют, у многих перевязаны руки, головы, эти раны счастливей сейчас всех наград. На бульваре Батиньоль Бакунин остановился с глазами полными слез. Какая же красота! Это Париж, светоч-город, да он сейчас еще прекраснее, превращенный в дикий Кавказ! Как горы, досягающие крыш, взгроможденные баррикады; меж каменьев, сломанной мебели, поваленных карет, как лезгинцы в ущельях, толпятся работники, почерневшие от пороху, в живописных блузах, вооруженные до зубов. На рю де Риволи увидал Бакунин боязливо из окна выглядывающего лавочника с толстым, поглупевшим от ужаса лицом. Ни карет с гербами и лакеями, ни дам с левретками на ремешках, ни знаменитых фланеров; исчезли львы с тросточками, лорнетами. На место их, навстречу Бакунину, по Елисейским полям новыми потоками текут торжествующие толпы работников, плывут красные знамена в упоеньи победой. «Vive la République!» Вширь раздались парижские улицы, раскачались, размахнулись площади, вздрогнули набережные; заиграл грубой игрой, ожил город; и громадный, парижский рот орет на весь Париж

марсельезу! На Площади Согласия Бакунин стоял пораженный, не чувствуя себя от радости, от счастья. Исполненье мечты, начало безграничной свободы, потоп старого мира. Вот они, среди безграничного раздолья разрушенья, эти радостные, как дети, толпы. Они любезны, остроумны, скромны, человеколюбивы, упади сейчас с крыши этого казенного зданья котенок и ему на помощь бросится вся эта дикая, вооруженная толпа.

Без шляпы, с вьющимися по ветру волосами по плеч, грязный от долгой ходьбы, широко шагающий, в руке с чемоданом, Бакунин продирался сквозь толпы блузников к Мосту Согласия. Улыбка ли, необыкновенность ли нефранцузского вида, но ему машут ружьями работники, кричат:

— Camerade! Camerade! Vive la République! Vive la Revolution!

У Тюльери пестрая толпа солдат, работников, женщин, каких знает только революционный Париж, строгих, «орлеанских дев революции», бедно-одетых, смуглых, с красными бантами на груди. Держась за шею каменной фигуры кричит вооруженный старик, вея бородой. Это — пламень революции, выпускаемый легкими, языком, челюстями — в воздух. И толпа ловит этот пламень:

— Vive la Revolution! Vive la République Mort! Mort!

Бакунин стоял очарованный; самому броситься, влезть, произнести родным людям, созданным для нового человеческого счастья безграничной свободы, речь! О том, что они даже не подозревают, как велики, значительны дни и как, чтоб бережно сохранить счастье свободы и революции, надо забыв все, броситься на взрыв земли, на подъем всемогущего, всесмывающего, всемирного пожара. Маша красными шапками, шляпами, каскетками заволновалась толпа. Навстречу, от Лувра, выезжала кавалькада. На тонком, вороном жеребце, впереди всех, Бакунин сразу узнал Марка Коссидьера, заговорщика, бойца, революционного префекта полиции, того, что так восхищался письмом Бакунина к царю и речью его на польском банкете. Коссидьер, большой, ширококостный, с сухим лицом, черной эспаньолкой, как и вся кавалькада новой коссидьеровой гвардии, — в синей блузе, красной шапке, красном поясе, с заткнутым за пояс пистолетом. На жеребце Коссидьер сидел плохо, с развороченными носками и шенкелями; и возбужден-

ный криками толпы конь встряхивал Коссидьером, как привязанным мешком.

— Да здравствует Коссидьер! Да здравствует Коссидьер!

Красной шапкой с трехцветной кокардой машет Коссидьер, бритый, желтый, похожий на актера. Машут десять монтаньяров коссидьеровой гвардии, с сильно республиканскими лицами и театрально воинственными жестами. Революционный префект едет на смотр в Казерн де Турнон, где расположилась красная гвардия, заменив королевскую муниципальную. Коссидьер не видел Бакунина, да и толпа хлынула через мост, за тронувшими рысью конными. Бакунин видел, как скверно облегчается на рыси Коссидьер. Но для революции это неважно. Через час, вместе с толпой солдат, рабочих и женщин, Бакунин вплыл во двор Казерн де Турнон.

Коссидьер отбыл, но в казармах все еще праздник; все трезвы, а похожи на весело пьяных, до того тут много шуток, смеху. Вместе с шутками стучат об пол ружьями, звеня примкнутыми штыками. Мальчишка солдат подкидывает штыком, пробивает медвежью шапку национальной гвардии; бьют прикладом по барабану: а гамен, с красным галстуком во всю шею, рваный озорник, приплясывает в солдатском кольце:

«Mon pére est à Versailles
Ma mére est à Paris».

Своеволен, отчаянен, вертляв подросток; тучный взрывается гогот, хохочет и Бакунин. Бакунина схватил за руку подпоясанный белой солдатской портупеей коссидьеровец.

— Mon vieux! Какими судьбами! Тебя шлет сюда сам сатана!

Это наборщик из «Ля Реформ», командующий отделеньем, первый ворвавшийся в Тюльери. Их обступили незнакомые рабочие, с смешливым удивленьем глядя на громадную фигуру Бакунина.

— Да зачем тебе квартира! Для тебя не будет лучше квартиры, чем наши казармы, пойдем, пойдем, я устрою тебе прекрасный угол!

Дым цигареток, силуэты штыков, красные штаны, галстуки, веселые лица, помпоны матросов, крик здоровых глоток — опьянили Бакунина. Так уж устроен он, что ког-

да входил раз в кабак, всем казалось, что всю жизнь он пропьянствовал в этом кабаке.

— Vive la République! Vive la Revolution! — и бакунинский бас гремит: — Vive la Revolution sociale mondiale!

5

Пир без начала, без конца! Но в Казерн де Турнон не один Бакунин, все пьяны. Только Бакунин пьянее всех новых солдат, рабочих парижских предместий. В душно заспанных казармах, ранним утром хочет старая труба играть зорю. Не умеет стекольщик жувенской фабрики, чернолицый Перье выдувать упругие мелодии, а горниста муниципальной гвардии убили. Будит коссидьерову казарму отчаянными, душу раздирающими звуками, дуя с хохотом в трубу; но никто не обижен, подымается казарма весело.

Идут в очередь к умывальной; среди голых по пояс французских тел, полуголый, заспанный Бакунин возвышается громадой. Революция научила его вставать с петухами. Впрочем Бакунин ночи не спит; в клубах, на прогулках по бульварам, в демонстрациях перед ратушей примелькалась волосатая, черная фигура русского. Его знает не только коссидьерова гвардия. Вчера от ворот Сен Дени вел безработных крестьян, наводняющих Париж. За громадной атлетической фигурой крестьяне шли по Парижу с криками: — Mort! Mort! Vive la Revolution sociale mondiale! — И с знаменами: «Рабочее министерство! Уничтоженье эксплуатации человека человеком!» На площади Грев взобрался на конную статую Генриха IV, украшенную красным знаменем. Бакунин не был оратором, Бакунин был народным трибуном, демагогом, его величавая фигура, энергические жесты, короткие, как топором вырубленные фразы производили захватывающее впечатление. Со статуи Бакунин кричал то безработным, то обращался к правительству: — «Народ водрузил над баррикадами красное знамя! Нельзя пытаться обесчестить его! Пролитая народная кровь окрасила это знамя в красный цвет! Оно горит и ярко блещет, развиваясь над Парижем. Но может ли учрежденное правительство быть представителем социальной республики!? Прониклось ли оно насквозь республиканскими идеями!? Мы требуем для защиты республики, чтобы была немедленно объявлена война всем тронам и аристократам всех стран! ! !»

Крики — «Смерть! Смерть!» заставили Ламартина и Флокона с балкона ратуши говорить безработным, требующим хлеба и полного счастья — речи!

О, стоящего в очереди к умывальной, полуголого заспанного Мишеля уже знают работники Парижа. — «Мишель! On se bat à Berlin! le roi a pris la fuite, aprés avoir prononcé un discours!» ворвался гвардеец-матрос, трепыхая красным помпоном.

— Уррра! ! ! Вив! ! ! — кричат полуголые.

— On se battu à Vienne, Metternich s'est enfui, la République y est proclamée! Toute l'Allemagne se soulève!

— Урра! ! ! Вив! ! !

— Les Italiens ont triomphé à Milan, à Venise! Les Autrichiens ont subi une honteuse defaite!

— Vive la Revolution sociale mondiale! — гремит бакунинский бас, хоть и знает, что спокойна еще Европа. Но все тут смешалось в коссидьеровой казарме; невероятное тут обычно, невозможное тут возможно, потому-то и орет оголец-мальчишка в красном галстуке во всю шею:

— Le bon Dieu vient d'être chassé du ciel, la République y est proclamée! — и от нечеловеческой бури хохота качается казарма гвардии Коссидьера.

6

С баррикад, с ружьем на плече вошел в префектуру Марк Коссидьер, именем народа став префектом полиции. Старый заговорщик был человек средних способностей, но сильного характера. Коссидьер был голоден и, бросив ружье на диван, съел обед бежавшего префекта полиции Делессера.

Но вот уж несколько дней, смуглому крепкому Коссидьеру, нервному Флокону, морщинистому Ламартину, жирненькому, с глиняной трубкой Луи Блану, с балконов правительственных зданий, толпы кажутся волнами, понесшими Францию в открытое море.

Коссидьер сидел в кресле префекта задумчиво, устало, бессонными глазами, глядел в окно, в облака. Сквозь дребезжащие стекла, словно везли тяжелую кладь, доносился гул марсельезы. Коссидьер позвонил в колокольчик, приказал вошедшему адъютанту распорядиться закладывать карету.

В ратуше старый друг, Флокон, человек незаметный, с черной эспаньолкой, как у Коссидьера, встретил приятеля в зале Сен-Жана невеселой улыбкой.

— Comment ça va?

— Comme-ci comme-ça — проговорил, рассматривая лицо Флокона, Коссидьер и тихо засмеялся. Они прошли к нише окна.

— Знаешь, что делает тут Бакунин? — вдруг проговорил Флокон.

— Видал, — сводя брови, пробормотал Коссидьер, — эта бестия поселилась в Казерн де Турнон, среди моей гвардии, он сошел с ума и сводит с ума людей, я говорил с ним, он помешанный.

Флокон отрывисто захохотал.

— Мой дорогой, в первый день революции этот человек просто клад, но на другой же день революции его надо немедленно расстрелять!

Коссидьер невесело усмехнулся.

— Вчера я видел Прудона, он готов носить по республике траур; жалеет, что таскал камни на баррикады, что вырвал дерево на площади Биржи и сломал перилы на бульваре Бон-Нувель, — Коссидьер помолчал, — а его друг, Бакунин, о котором он выражался, что это une monstruosité par sa dialectique serrée et par perception lumineuse des idées dans leur essence, проповедует, что революция еще не начиналась, зовет к полному нивелированию во имя равенства, которое по его словам начнется с разгрома Парижа. Это плохие шутки, Флокон, он водит к ратуше безработных, которые без того настроены неспокойно и затопляют Париж; они превратят Париж в Помпеи.

— Да, да, знаю. Триста таких Бакуниных и управлять Францией станет невозможно; но, мой друг, не подтверждать же нам его высылку королевским правительством?

— Его агитация может вылиться в кровавую драму, — пробормотал Коссидьер.

— Вероятно, мсье Делессер на твоем месте выдумал бы что-нибудь остроумное, — смеялся Флокон, вытаскивая из кармана сюртука сложенный вчетверо лист. — Собственно говоря, это твое дело, но оно, к сожаленью, сделано без тебя.

Коссидьер развернул лист: — «Изгнанный из Франции падшим правительством, возвратившись в нее после февральской революции и теперь намереваясь ехать на русскую границу, в герцогство Познанское, для того, чтобы действовать вместе с польскими патриотами, я нуждаюсь в деньгах и прошу демократических членов провизорного правительства дать мне 2.000 франков не даровою помощью, на которую не имею ни желанья, ни права, но ввиде займа, обещая возвратить эту сумму, когда только будет возможно. Михаил Бакунин».

— Ну? — залился смехом Флокон. — Революционный префект! Бакунину всего на всего лишь подтвердили, что если он обратится ко мне, Луи Блану, Альберу и Ледрю Роллену, мы поддержим его планы поднять революцию в Германии, или на границах России, где ему там заблагорассудится.

— Он довольно скромен, дайте ему хоть вместо двух тысяч, пять. На две тысячи франков он вряд ли подымет революцию в Германии и России... — идя с Флоконом по залу Сен-Жана, говорил Коссидьер.

— О, в этом смысле надо предоставить все на полную свободу его гения. Я думаю, что люди на «Б» вообще не для Франции, — похохатывал Флокон. Коссидьер понял намек на Бланки и Барбеса. Когда они выходили из ратуши, Флокон, похлопывая по плечу старого друга, проговорил: — И немецкие эмигранты, Коссидьер, похожи на подложенную под республику солому, политую керосином, но вскоре, кажется, удастся и их отправить к себе восвояси.

7

С Бакуниным на тротуаре рю Шампьонет, сидел оборванный человек с странно перекошенной щекой и глазом. Он перебивал Бакунина взмахами жилистых рук. В клубе у ворот Сен Дени Бакунин увлек человека с перекошенной половиной лица двухчасовой речью. Безработный слесарь с улицы Рике, стоя у трибуны, видел разевающийся, похожий на пасть, громадный рот Бакунина, вкруг головы вилась грива волос от резких движений корпуса, взмахов белых, громадных рук. Слесарь бежал за Бакуниным, расталкивая толпу по рю Шампьонет и нагнал растрепанного, гигантского человека, шагавшего по камням мостовой быстрой и крепкой походкой. Слесарь схватил его за руку,

проговорил все что томило и мучило. У слесаря был свой план счастья Парижа и прекращенья безработицы.

— Стой! — бормотал слесарь с большим, красным бантом на груди и пистолетом за поясом, — присядем, я расскажу тебе, что нам нужно...

Бакунина не удивили безумные глаза, перекошенный, прищуренный облик. В улице ,запруженной возбужденной толпой и проезжавшими верховыми гвардейцами Коссидьера, они сели на краю тротуара; слесарь заговорил неразборчиво: —

— В Париже много стариков, старух и детей...

Бакунин увидал: слесарь бредит.

— ...их помещенья будут отдыхом безработным...

Бакунин крепко схватил его за руку: — Нет, этот план ненужен! — проговорил; но слесарь держал Бакунина, не выпуская. За ними остановились щегольской, полноватый, молодой человек и хрупкая дама; оба одетые, как туристы. Молодой человек в модном пальто-макинтоше, круглой шляпе, улыбался, то глядя на даму, то вниз на Бакунина. Наконец дотронулся палкой до спины Бакунина.

Вскрикнув, — Герцен! — Бакунин вскочил и бросился, обнимая, целуя в обе щеки элегантного человека. — Да как ты попал? Я думал ты в Италии?

— А ты, кажется, занят агитацией? — брызжа радостью веселых, карих глаз, смеялся Герцен.

Слесарь шел понуро в сторону, все сильней размахивая руками, разговаривая сам с собой, ускорял шаг, сплевывая тонким, длинным плевком на мостовую.

— Какая к черту агитация! — смеялся Бакунин, — больной, сумасшедший человек, буквально. Твердит дикую идею уничтоженья неработоспособных и разрушенья дворцов.

— Так чего ж вы так страстно с ним дебатировали?— хохотал звонко Герцен.

— И то верно, да я действительно, кажется, брат, сам тут на радостях с ума спятил; его бы надо попросту послать к черту...

Натали Герцен, улыбаясь ласковостью серых глаз, взглянула на Бакунина: «все, мол, тот же».

8

Парижский салон Герцена в эту революцию был самым блестящим. Сборище всесветных богемьенов, мятежников, бродяг, вагабундов, революционеров, весельчаков, страдальцев, съехавшихся со всего света в Париж. Это было — «дионисиево ухо» Парижа, где отражался весь его шум, малейшие движения и волнения, пробегавшие по поверхности его уличной и интеллектуальной жизни. Приходили сюда друзья и незнакомые, завсегдатаи и случайные гости, богатые и нищие, никаких приглашений, даже рекомендаций не требовалось; приходили кто попало и две венки-эмигрантки, за неимением собственной квартиры разрешились здесь от бремени. По-московски хлебосолен хозяин; завтракали тут, обедали, ужинали — беспрерывно; шампанское лилось в ночь до рассвета; за стол меньше 20 человек не садилось — немцы, поляки, итальянцы, румыны, французы, венгры, сербы, русские, кто не перебывал в доме Герцена. Мишле и Тургенев, Прудон и Гервег с женой Эммой, Ламартин и Маркс, Луи Блан, Энгельс, Гарибальди, Мацини, Флокон, Мюллер-Стрюбинг, Зольгер, фон Борнштедт, фон Левенфельс, Ворцель, Сазонов, Бернацкий, Жорж Занд, Толстой, Головин. Взрывались тут политические, философские споры, стихи, анекдоты, шутки, смех. Блистал в интернациональном обществе Бакунин диалектической стройностью толкованья Гегеля, бешенностью темперамента и невероятным количеством выпитого и съеденного. Историк Мишле умер бы от десятой доли. Собирали дань изумленья смешанного почти со страхом, смелость воззрений Герцена, его непокорный и неуживчивый ум, неугасающий фейерверк его речи, неистощимость фантазии и какая-то безоглядная расточительность ума при парадоксальности энергического характера и детского сердца. Это был талант пира. Это были ночи пришественно-скифские.

—Неужто в самом деле уезжаешь? — говорил Герцен озабоченно, когда они с Бакуниным подъезжали в фиакре.

— Да, да, еду, брат, еду, время не терпит, Флокон сообщил, что поддерживают от всей души, дают кой-какие деньжонки, предлагали даже 5000, да я удовольстовался 2000. Не из чистоплюйства, считаю, что с революционного правительства брать деньги, не зная когда отдашь, неловко.

— Это ж почти безумие; и ты надеешься что-нибудь сделать? Ехать неизвестно куда, одному, кого то подымать, да кого ты подымешь?

Когда шли анфиладой комнат, в кабинет с широкими креслами, кушетками, диванами, Бакунин, улыбаясь, говорил:

— Помни, друг мой, что я русский, да к тому ж еще и Бакунин, ха-ха-ха! Говоришь, никого и ничего? А мне вот кажется, что я Крез, богач, напал в мире на такую золотую жилу, что только копни и брызнет золотом. Не сидеть же, Герцен, вечно, сложа руки, рефлектируя? Надо делать историю, брат, самому, а не то всякий раз останешься зауряд. Эх, Герцен, Герцен, ты, брат, матадор, но с голубиным сердцем!

— Запил революционный запой! Только не принимаешь ли ты второй месяц беременности за девятый? — и на умном лице, в карих глазах убийственная ирония. — Ты Бакунин — локомотив слишком натопленный и вне рельсов, несешься без удержу и несешь с собой все на свете. Ну что ж, подавай Бог, давай запьем по всамделишнему, сейчас дадут вина, а скоро соберется народ; сегодня даже Маркс будет, хоть ты его и не любишь?

— Нет, — качнул гривой Бакунин, — тщеславный, безапеляционный и мелочный еврей, хотя ум, конечно, и воля. Но эгоцентричен до безумия, он говорит не иначе, как *мои* идеи и не хочет понять, что идеи не принадлежат никому.

Герцен задумался, улыбаясь, проговорил:

— Вы по всей стати, Мишель, очень разны. Ты — прирожденный партизан революции, а Маркс во что бы то ни стало хочет быть революционным главнокомандующим. Впрочем, — засмеялся, — я люблю его столько же, сколько и ты.

9

Дом залит светом; на длинном, раздвинутом столе в столовой готовились вина, закуски, коньяки, шампанское и с трудом испеченные русские пироги во французской плите.

Гостиная шумела пестрым сборищем; изящный Гервег, стоя у окна с Тургеневым, холеными руками пощипывал шелковистую бороду, говорил об испанской литерату-

ре; поодаль с хрупкой хозяйкой, Натали, разговаривал Карл Маркс, крепкий, резкий, с копной черных волос, с лицом упрямым и нахмуренным; все движенья его были угловаты, но смелы и самонадеянны; и такой же, прочносшитый, но покойный, стоял рядом Ледрю Роллен; невдалеке шумел с Бернштедтом и Левенфельсом краснощекий Энгельс; в массивном кресле, посредине комнаты, как всегда, в синем сюртучке с золотыми пуговицами, вынув фарфоровую трубку изо рта, маленький Луи Блан перед Ворцелем, Прудоном, Бакуниным и Герценом говорил о проекте национальных мастерских. Неизвестный польский полковник беседовал с скептическим Рейнгольдом Зольгером; Мюллер-Стрюбинг, посасывая трубку, старался перевести бледному, морщинистому Ламартину стихи Люнига. Вошел, изящно кланяясь, Флокон; несмотря на занятость, управляющий делами временного правительства, также как Ламартин и Ледрю Роллен, освободил этот вечер. Слушая Луи Блана, сидел развалясь, обняв за плечо Герцена, Бакунин.

Натали, изящная, извинившись перед Марксом, пошла навстречу Флокону, говоря любезности. Потом — задвигались кресла, стулья. Продолжая неоконченные разговоры переходили в столовую, размещаясь у сервированного стола. За красиво-цветным столом, с бутылками и бургундского, и бордо, не произошло ничего необычного; но вот хозяин, Герцен, встал и подняв бокал, заговорил о сущности сегодняшнего вечера.

— Друзья! я предлагаю выпить за успех предприятия нашего общего друга Гервега!

За столом знали для чего собрались, за что подымает тост Герцен: за военный поход на Баден легиона в четыре тысячи немецких эмигрантов во главе с Гервегом и фон Борнштедтом. За бокалы взялись французы и немцы. Гервег чуть улыбнулся, беря свой бокал; жена, Эмма, большая, словно переодетый в юбку мужчина, взглянула на него умиленно. С угла резко проговорил Маркс:

— У этого предприятия не может быть успеха, оно похоже больше на революционную авантюру, чем на революцию. Я и мои друзья считаем для дела революции гибелью посылать людей на верное пораженье.

Произошло замешательство. Флокон отставил, поднесенный к губам, бокал. Только что осушив бокал бургунд-

ского, вспыхнул краской гнева Адальберт фон Борнштедт, проговорил запальчиво:

— Простите, герр доктор, может быть вашу безапелляционность вы будете любезны подтвердить фактами?

Французы замолчали неловко, как хозяева при ссоре гостей, Ледрю Роллен опустил голову в тарелку, ел. Флокон и Ламартин переводили глаза с Маркса на Борнштедта. Гервег сидел с вздернутым на Маркса, полным пренебреженья, красиво-игрушечным лицом. Бакунин, косо ухмыляясь, взглядывал то на Герцена, то на Маркса.

Отставив бокал несколько в сторону, звякнув им о другой, Маркс заговорил безапелляционно, резко обрывая слова, словно за столом сидели школьники, а не революционеры. Чем больше говорил, сильней волновался, сжимая поросший черным волосом кулак.

Ужин вспыхнул, загорелся; забыли английское пиво, вина, шампанское, русские пироги и закуски; напрасно волновалась Натали на французской кухне. Гервег, желавший похода, заговорил страстно и красно о всеобщем восстаньи Германии, для которого нужна баденская искра, о связи с Геккером и Струве, которые уже раскачивают Баден. Гервега поддержал Левенфельс и Борнштедт. Коротко проговорил страстным басом Бакунин; за ним осторожно начал красивую, тихую речь Ламартин. Молчавший Прудон, повернулся к Бакунину, проговорил на ухо:

— Что ты думаешь о Германии?

— Поход на Баден может дать сильный толчек к развитию революционного движения в Германии, — шептал Бакунин, — к тому ж, имя Гервега; я сторонник его во что б то ни стало, — и совсем склонившись, прошептал, тихо рассмеявшись, — я думаю, тут вероятно больше зависти, чем логики. — Прудон повел плечом, вслушиваясь в ответный, метавшийся голос Маркса.

— Вы ведете работников на верную смерть! Дайте мне цифры! Дайте мне данные, укажите фактические возможности восстанья! Германия не Балканы, ее не подожжешь спичкой авантюры!

Почему, признавая волю, преданность революции, эрудицию, ум не любил Маркса Бакунин? Волосатого крепкого человека, словно, не переносил всем нутром и всей кожей. «Нет в нем ни на грош инстинкта свободы», думал Бакунин, слушая все более гневно кричавшего Маркса. И,

плохо подавляя гнев, резко заговорил, поддерживая поход на Баден. Маркс сидел с сжатым на столе большим кулаком; когда ж метавшийся бакунинский бас оборвался, Маркс отшвырнул тарелку и встал:

— Я считаю бессмысленный поход предательством дела германской революции! — и пошел прочь из-за стола; за ним поднялся Энгельс.

Произошло новое замешательство: революционного поэта Германии оскорбили, захмелевший от шампанского, Гервег вскочил, Бакунин успокаивал, склоняясь, бубня что-то со смехом; Флокон был искренно возмущен и Герцен что-то говоря о «марксидах», смеется.

А с Сены уж тянет рассветный ветер, молодая республика просыпается; над крышей дома Герцена, на Авеню Мариньи, посерело весеннее, влажное небо. Каменной глыбой очертился в прозрачной, мартовской темноте Лувр; и лица гостей зеленеют в рассвете.

10

Когда стол стал похож на оставленное поле сраженья, Бакунин, подперев голову широкой ладонью, облокотясь на локоть, сидел задумчиво. Герцен в передней провожал гостей, надевавших пальто и плащи. Бакунин думал о России, в легком хмелю, на рассвете приходят странные и смешные мысли.

— Что мы как отяжелемши, а? — вошел Герцен.

— Да так, — улыбнулся Бакунин, меняя позу, — эх, тоска, брат, иногда охватывает, а отчего? Странно устроен человек, — заговорил, наливая вина, — вот еду, очертя голову, как угорелый брошусь в неизвестность, отдам все силы святому бунту против мещан всех качеств и калибров, а иногда вдруг, знаешь, схватит такая тощища, без причин и без всякого основания. Ходишь, как потерянный. На чужбине, без семьи, без родных, вот мы русские отрываемся от родины, а ведь немцами, французами никогда вовек так и не станем; и чем ни больше живу я заграницей, все сильней чувствую, что я по всем костям, не они, а они, брат мой, не я. И никогда мы вплотную не сойдемся. И вот эта тоска, отчего? Черт знает, а вяжет, словно живешь на поднявшемся кладбище. Вчера иду мимо Сены и сам себя спрашиваю: — а не лучше ль сейчас за парапет, да в реку и утопить все свое существование? Кажется иногда

мне, что мир заснул и тишина какая-то страшная, мертвецкая. Если б вот не революция, может быть, натурально и прыгнул бы в реку.

Герцен улыбался карими, умными глазами.

— Это у вас, герр Бакунин, нервное расстройство и переутомление от Казерн де Турнон.

Бакунин отпил бокал крупными глотками.

— В общем то, конечно, ерунда, — сказал, утирая от вина усы, — вот поеду послезавтра, да и попробую силы. Завертим, Герцен, выпустим русского красного петуха, пусть пропляшет мир под нашу музыку!

Но карие глаза Герцена словно потеряли на рассвете иронию.

— Знаешь, Мишель, ну, конечно, упоенье революцией, увриеры и восторг, а вдруг иногда подумаешь: — да, но стоит ли вообще то браниться с миром, не начать ли проще самобытную жизнь, которая б нашла себе самой оправдание и спасение, даже тогда, когда весь нас окружающий мир погибал бы? Иногда хочется вглядеться, да идет ли в самом деле масса туда, куда мы думаем, что идет? И итти ли нам с нею или же от нее? Знаем ли мы ее путь? Почему это мы живем не для себя, а чтоб словно занимать других, ведь практическое большинство людей вовсе не печется о недостатке *исторической* деятельности. Что это мы за вечные комедианты, за публичные такие мужчины, Бакунин?

Бакунин молчал, потом проговорил:

— Я человек обстоятельств, Герцен, и рука судьбы начертала в моем сердце священные слова, которые обнимают все мое существование: — *он не будет жить для себя.* Я хочу осуществить это прекрасное будущее и я сделаюсь достоин его. Быть в состоянии пожертвовать собой для священной цели, вот мое единственное честолюбие. А жить для себя? Что ж ты думаешь, в этом счастье?

— Не убежден, но иногда думаю, вот когда один, не на людях, — добавил, улыбнувшись мягко.

— Нет, — качнул волосатой головой, сказал после паузы Бакунин, — для меня это невозможно. Где ж тут жизнь? В тенетах, в цепях, с платком во рту, без свободы твоей и других, нет, мне слишком много свободы надо, Герцен.

— Свободы, свободы, а что такое свобода? Ну хорошо, может быть в этом и есть *твоя* жизнь, но ведь ты ж борешься якобы за свободу других, хочешь умереть за нее, а вот Гёте думал: — Der Mensch ist nicht geboren frei zu sein.

— Гёте, — усмехнулся Бакунин, — да при чем тут Гёте? Разве ты сам не чувствуешь, что кругом тебя все гниет, что этот мир стар и требует обновленья дикой и свежей кровью? Этот мир должен умереть, никакие лекарства больше не действуют и чтоб легко вздохнуть наследникам, надо хоронить мертвеца. Вот эти похороны то, это буйство похорон и есть моя жизнь, Герцен. Для этой страсти я и живу.

— Ну да, да, Бакунин, но есть ведь разница, — страстно заговорил Герцен, — можно спасаться вплавь и можно топиться. Ты вот обрекаешь современных людей на жалкую участь кариатид, поддерживающих террасу вечности, на которой когда-нибудь будут танцовать другие. Но лучше ли, веселее ли будет их танец? Когда тот же Гёте был в Италии, он сравнивал череп древнего быка с черепом современного и нашел, что у современного быка кость несколько тоньше, а вместилище больших полушарий мозга несколько пространнее. И только. Три четверти всего, что мы делаем, Бакунин, есть повторение того, что делали другие и история может продолжаться миллионы лет и кажется, будет все то же. Недаром сказано, что история скучная сказка, рассказанная дураком.

— История! — вставая, сказал Бакунин, — да я ничего не имею против окончанья истории, хоть завтра! Ты слишком много философствуешь, Герцен.

— Философствуешь, ах экс-Гегель, тебе ль это говорить, откуда вдруг такое пренебрежение к «философии»? Атилла, да и только!

— Без живого дела, без действительной жизни философия для меня давно мертва. Чем ни больше я ей занимался, тем яснее приходил к убеждению, что я ничего не знаю.

— Ну что ж, счастье твое. Отрезать голову и утверждать, что я от этого стал счастливее, вряд ли сумею. Ты, вероятно, счастливее, а у меня, вот, нет даже ясного сознания необходимости всеуничтожения. Я вижу гибель Европы, но не знаю еще, что придет ей на смену? Современная Европа снится мне гаванью, до которой человечество до-

стигло трудным плаванием. Современное состояние не представляет стройно выработанный быт, а быт туго сложившийся по возможностям; оседая он захватил с собой величайшие противоречия, исторические привычки и теоретические идеалы, обломки античных капителей, церковных утварей, топоры ликторов, рыцарские копья, доски временных балаганов, клочья царских одежд и скрижали законов во имя свободы, равенства и братства. — Герцен говорил грустно; таким никогда не бывал на людях, где остроумничал и иронизировал без конца. Не то вплывший в затуманившиеся от утренника окна парижский рассвет, не то испаряющийся алкоголь оставляли грусть. На столе в беспорядке стояли разноцветные, недопитые бокалы, недоеденные креветки, колбасы, устрицы, сыры. Бакунин то ходил, то садился.

— Странная вещь, — машинально поигрывал кистью кресла Герцен, — вот прочел пустяк, старую газетную телеграмму, а она не дает мне покоя и мучит именно потому, что в этом пустяке отразилась вся Европа: — «Святой отец прислал по *электрическому телеграфу* свое благословение новорожденному императорскому принцу». Здесь, в телеграмме есть что-то безумное и она объясняет лучше всех комментариев то, что я думаю о Западе.

— Святой отец по электрическому телеграфу... — хохотнул Бакунин, махнув рукой, словно от жалости, — ну да, мы присутствуем, брат, при великой драме. Драма не более не менее, как разложенье христианско-европейского мира. Благодаря Богу мы уже более не христиане. И надо решительно отвергнуть всякую возможность выйти из современного импасса без истребления всего существующего. А тут, в Европе непременно хотят мертвеца вылечить. Европа не понимает, что она в агонии, а она в агонии, и мне думается не она, а именно мы, полудикие славяне сыграем теперь в мире решающую роль. Наша судьба странна, мы видим дальше соседей, мрачней их видим и смелей высказываем. При гибели европейской цивилизации мы скажем свое слово и может быть в момент этой гибели оно и будет услышано. Мы жесточе, свежее, дичее и поэтому мудрее.

— Это может быть и верно, — медленно проговорил Герцен, — но ты представляешь себе реально, этот «конец

Европы», каков он будет? Ведь если в 93 году, Бакунин, свирепел террор, поднятый мещанами и парижанами, что ж будет теперь, когда весь пролетариат Европы встанет на ноги? Ооо, брат, да это зарево увидят с других планет. Но дело то даже не в этом, а в том, во что это разрешится? вот? По моему, — задумчиво покачал головой Герцен, — это разрешится, Мишель, всеобщим варварством, в котором люди повозобновятся и тогда через лет пятьсот все пойдет, как по маслу лет на пятьсот . . .

Может отъезд, риск головой, может рассвет, но настроенье Герцена сердило Бакунина; он грузно шагал по комнате, супил широкие брови.

— Ты похож, Герцен, на монаха, который при встрече не находит ничего лучшего, как сказать — memento mori. Смотреть на конец, это вообще — величайшая ошибка. Что такое будущее? Будущего нет! История импровизируется и редко когда повторяется, она стучится, брат, разом в тысячу ворот, а которые отопрутся никто не знает.

— Может быть балтийские? И Россия хлынет на Европу?

— Может быть. Тебя все сбивает цель, дурно понятая телеология, а какая, брат, цель в песне, которую поют? Если задуматься о цели, то исчезнет мгновенно и очарование песни. Так и в истории, дальше уходит тот, кто не знает куда идет. Лихо — море-океану раскачаться, да расколыхаться. Разумеется, революция, а тем более мировая, не похожа на игрушки в детской. Да и что ж из того, что мировой переворот не переродит три четверти людей в людей из «оранг-утангов». По моему именно даже в них то, вот в этих «оранг-утангах» то, как раз и больше жизненной красоты. Пусть их завладеют жизнью, пусть принадлежит она им всецело, пусть они будут ее господами и наполнят мир дикой свободой, дикими песнями, может быть зародышами новой культуры? Неужто для этого не стоит жить, Герцен, хоть бы минуту, хоть час, хоть день? Нет, я бросаюсь с головой сейчас в Европу только с этой одной мыслью и жаждой — зажечь пламя великой и святой всесокрушающей революции! Мой друг, пусть она перевоботит и поставит вверх дном все, да так, чтобы после нее никто бы не нашел ни одной вещи на своем месте. Пусть будут разрушены княжеские замки, административные и судебные здания и учреждения, уничтожены процедуры,

господские бумаги, документы, гипотеки, банки, одним словом все, все. Пусть эта, замышляемая мной, революция будет ужасна, беспримерна, хоть и обращена больше против вещей, чем против людей. Но только тогда я буду действительно счастлив, Герцен, когда весь мир будет стоять в пламени разрушения! И это будет настоящая революция, которой еще не было у народо́в! Вот с чем я бросаюсь сейчас в Германию! Вот с чего начну борьбу, агитацию и пропаганду. Нам нужна даже не словесная агитация, предоставим ее Ламартину, этой манной каше, желающей стать лавой, нам нужны действия, должны быть восстанья, вспышки, кровавые бунты. Пусть некоторые из них будут обречены на неудачу, пусть гибнут в них люди, но вспышки нужны, как пропаганда действием, этот парлефетизм даст нам опыт для действий широких масс в том месте, где будет удача... — Бакунин, стоя, махал вокруг себя дымящейся цигареткой, — да, да, Герцен, поэтому я и готов на всякое головоломное предприятие, на всякую отчаяннную, революционерную вылазку, потому что, я верю, что всеобщее восстанье именно сейчас, как никогда, близко! Но в белых перчатках, как хотел бы ты, восстаний не делают, напротив надо развязать во всех этих «оранг-утангах» самые низкие, самые дурные страсти, чтоб ничто не стало им на пути, чтоб ничто не сдерживало этих обиженных судьбой в их ненависти и жажде истребленья и разрушенья. И вот тогда, о, только тогда, прозвучит на земле гимн настоящей свободы и настоящего счастья. И самому во главе толп, миллионов нищеты, бедноты участвовать в беспощадной мести и разрушеньи мира, вот где, брат, наслажденье, которому я не знаю равного! Это Lust der Zerstörung!

— А и силищи в тебе, Мишель, какие-то непомерные, право, — рассмеялся и грустно и весело Герцен, — словно Этна Ниагаровна какая-то, иль трехполенная, революционная Жанна д'Арк, одна против англичан. С твоей то бы, брат, силищей да страстью действий тебе бы вместо революций да катнуть в Америку, богачем бы ты стал!

— Эээ, — отмахнулся Бакунин, — в Америку. Там, брат, скука чертовская.

— Ну, стало быть, назовем тебя — «Колумбом без Америки»!

11

Запряженный четверкой, дрянной дилижанс, поскрипывая, проехал ровной рысью ворота Клиши; помахивала четверка вороных лошадей стрижеными хвостами. Когда кругом пошли однообразные поля, над дилижансом пролетела разорванной тучей стая галок. Укачиваемый в старом дилижансе, Бакунин курил, разговаривая сам с собой: — «Куда едешь? — Бунтовать. — Против кого? — Против Николая. — Как? — Еще хорошо не знаю. — Куда ж ты едешь? — В Познанское герцогство. — Почему туда? — Слышал от поляков, теперь там больше жизни, движенья, и оттуда легче действовать. — Какие у тебя средства? — Никаких, авось найду. — Есть знакомые и связи? — Исключая некоторых молодых людей, которых встречал в берлинском университете, никого. — Рекомендательные письма? — Нет. — Как же ты, без средств и один, хочешь бороться с русским царем? — Со мной революция и в Познани я выйду из одиночества. — Но поляки одни не в состояньи бороться с русской силой? — Одни нет, но в соединеньи с другими славянами — да, особенно если удастся увлечь русских в царстве польском. — На чем же основаны твои надежды, есть у тебя связи с русскими, иль ты идешь, как угорелый на явную гибель? — Связей никаких, надеюсь на могучий дух революции, овладевший всем миром . . .»

Стлался разнобой копыт; лошади везли дилижанс по блесткой, в колеях, дороге; почтальон старик дремал на козлах, ездил тридцать лет дорогой на Страсбург.

12

Сколько фельдъегерей, гофкурьеров неслось по Европе, к границам России, к кабинету императора Николая; из Вены, Дрездена, Берлина, Италии, Богемии, Швейцарии, Венгрии на перекладных шестериках, на ямских тройках мчали изустные доклады, письма королей, бумаги министров. Сколько пало коней в пути, сколько зуботычин надавали пьяным ямщикам станционные смотрители, натерпевшись страху царских приказов. Да и гофкурьеры хватили перелягу, выкатывая с звоном колокольцов на Дворцовую площадь, представая перед русским императором. Знали, кроме Бога стоит еще одна только сила, несломанная

европейским неистовством, — царь Николай. Но невероятно раздражителен, гневен, не спит ночей. А ночи в Петербурге белые, как пятичасовые сумерки.

В золотой пустыне дворца с заложенной за борт рукой, потупив рыжеватую с лысиной голову, взволнованными шагами ходил император. Николай переживал самое страшное: воля казалось не всесильной. В Вене — диктаторство каналий, бегство князя Меттерниха, разгром дворца на Бальпляц, буйства, столкновенья с войсками эрцгерцога Альбрехта; бегство слабовольного императора в Инспрук и полная отдача города в руки взбесившейся черни под главенством попа Фюстера! Бург, где танцевал с эрцгерцогиней Софией, захвачен толпой и надпись: — «Здесь не осталось ни капли вина!»; в Шарлотенбурге, на дворце, где сватал жену, где говорил шефским бранденбургским кирассирам: — «Помните друзья, что я ваш соотечественник и, как вы, вхожу в состав армии вашего короля», — надпись: «Национальная собственность». Хаос и вертеп; бессилие и трусость; волненья в Неаполе; герцоги пармский и моденский бежали; Венеция — «Республика Св. Марка». Не чернь, — императоры, короли, генералы, министры, вот кто вызывал гнев шагов железного человека в военном мундире. Николай бормотал: «трусость, ни в одном нет силы кровью защищать Богом врученные страны! Революция на пороге России, но клянусь, она не проникнет в нее, пока во мне сохранится дыхание жизни, пока я милостью Божьей император!»

По ночам приходили ощущенья, как болезнь; охватывало волненье, разливалась пустота в сердце и немели ноги. Откинув шинель, Николай с трудом поднимался на походной кровати; сидел в темноте, спустив длинные ноги на шкуру медведя. Было жаль, что умер Бенкендорф в своем эстляндском именьи. Орлов ленив, проспит, убили же во дворце кулаком деда, удушили шарфом отца...

13

Вместо простудившегося графа Орлова на высочайший доклад прибыл умный генерал темного происхожденья Дубельт. Николай читал письмо от Орлова, хмурясь: «Ваше величество! К сожалению моему не могу быть с докладом, потому что горло болит и кашель сильный продолжается, но надеюсь завтра или послезавтра поправиться.

Между тем, слава Богу, все смирно и пустых толков никаких нет, как в городе, так и в окрестностях».

Исхудалое, в светлых усах, лицо у генерала Дубельта; на лбу, щеках, по бенкендорфски, глубокие рытвины, но лицо много хитрей и уклончивей.

— Докладывай.

Дубельт зачитал певучим упорным баритоном; докладывал сводку заграничных агентов из Франции, цитировал донесения парижского агента Якова Толстого; доложил о Вене; Николай не перебивал, глядел в стену. Но, когда в германском докладе Дубельт прочел, что поступили полицейские сведения о появленьи снова в Пруссии отставного прапорщика Бакунина, направившегося на границу с Польшей, откуда доносят о связях его с польскими мятежниками, Николай ударил кулаком по ручке кресла, потемнел и гневно встал в рост. Дубельт остановился.

— Просят помощи, а сами до сих пор не могут схватить этого мошенника!

Тёмен стоял Николай.

Дубельт проговорил негромко:

— Если б в Пруссии был покойный король, мы б давно имели преступника.

Дубельт докладывал о Богемии:

«— о средоточии поляков, после поражения восстанья в Познани, теперь в Саксонии и в Праге получены данные, что якобы в противовес Франкфуртскому собранью собирается в Богемии славянский конгресс, имеющий на самом деле скрытые революционерные цели. Среди съезжающихся есть головы, мечтающие о новом подъеме Польши к повсеместному повстанью. Как доносят, завязаны преступные связи с сербами, черногорцами, хорватами и русинами. Из русских возможно появление на съезде названного преступника, отставного прапорщика Бакунина. От съезда этого ждать во всяком случае надо многих опасностей, хоть и господствует в головах депутатов путаница. Есть донесения, что у некоторых существует даже безумная и преступная идея о том, что якобы можно надеяться при всеобщем славянском восстаньи на то, что, ваше величество, принуждены будете, подобно другим сдавшимся революции монархам, встать во главе всеобщего славянского движенья . . .»

— Что!?, — вскрикнул Николай. Дубельт оборвал. Николай захохотал.

— Я!? В роли славянского Мазаниело!? Так что ли!?

Дубельт улыбнулся в светлые усы.

— Вот это ловко! Развеселил! Да какой же это дурак прочит меня в голову славянской революции?

Николай гневно смеялся; сидел в мундирном сюртуке нараспашку, без эполет; закидывая большую ногу на ногу, сказал:

— Знаешь, кто Мазаниело был? Один злосчастный неаполитанский рыбак ,предводитель восстанья в семнадцатом веке, сначала боготворили его бунтовщики, а потом убили, а похоронили снова с исключительными почестями, как героя. Вот и они хотят, что б я голову под топор положил, хотя бы и славянский . . . сволочь! — ненавистно пробормотал Николай, — Медему не медля пошлешь, войдя в согласование с Нессельродом, все данные об этих происках, пусть в Инспруке заранее знают о кознях и гнусностях. Там теперь поди, такой хаос вокруг Фердинанда, что святых вон выноси, составь подробный доклад, дай назавтра, я просмотрю, пошли с гофкурьером прямо в Инспрук к эрцгерцогине Софье, она дельная, с волей, да и князь Виндишгрец при ней, чтоб заранее пресекли авантюру в корне. А то, может и до них дойдет, что я поддерживаю разбойников. Ма-за-ни-ел-о!? — захохотал в светлые усы Николай, — так может это мой прапорщик Бакунин выдумал? Хотя он знает меня. — После мрачной паузы Николай проговорил сквозь зубы. — За сим извергом приказываю следить неотступно, сам напомню Нессельроду, чтоб при первом же случае схватили негодяя, и выдали мне. Закую! Его место давно там! — пробормотал, и махнул кулаком на Петропавловскую крепость.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Солнце над золотой Прагой так разгорелось, что словно тают в блеске купола́ церквей в недрожащем воздухе. Зелены пражские острова, дремлют в голуби неба краснокаменные мосты, башни Вышеграда и Градчина. Рыбьей чешуей опоясывает гористость города голубая Молдава. Безветрен палящий день. Но что происходит в золотой,

расцветившейся цветной ярмаркой Праге? Не воскрес ли Ян Гус? Не вернулись ли времена Жижки?

Смешенье чужеземных лиц, пестрота нарядов, беспокойная суета вооруженных течет по улицам и площадям. Красно-золотые чепраки на конях, вьются ленты, вплетенные в конские гривы. В синих безрукавках, с широкой белизной шитых рукавов, скачут всадники. Цветут шапочки славянских цветов; перья на шишаках; звенят сабли.

Смоляной старик, владыка Черногории въехал в Прагу с загорелыми, бронзовыми, черно-бородатыми конниками. Прибыл бан кроатов, на горячих конях с ним двести конных в пестроте национальных костюмов. Парами идут сербы-священники. Колышатся трехцветные славянские знамена. Заполнило золотую Прагу славянское беспокойство. От славянских радостных толп боязливо сторонятся немцы и евреи. Ожила славянщина, забилась на Молдаве в золоте дней перед праздником святой Троицы.

На Конную площадь, к статуе доброго герцога Вацлава едут конные, идут пешие толпы. Под небом, под солнцем поет тысячный хор. Расплавленным ароматом ладана льется благолепие греческого песнопения, прекрасна в живописности славянская толпа.

Зачинщики всеславянского съезда, хозяева, чехи в старине гусситских камзолов; члены «Сворности» в цветных шапочках, гремят саблями на боку; члены «Славии» и «Рипиля», студенческий славянский легион в синих плащах с широкими воротами, в стянутых кушаком мундирах, шляпах с вьющимся в ветре пером. Машут платками женщины, сыпят цветы на чешские камзолы, словакские безрукавки, черногорские чекмени, белизну сербских рубах, на кунтуши, свитки, чубы, усы и бороды.

В колясках едут европейцы поляки, в цилиндрах. С балконов кричат: — Слава! Слава! — Давно исчезли черно-желтые флаги Австрии. Веют национальные знамена славян. Польский отряд познанских бойцов выходит строем на площать несется торжественный хорал «С дымом пожаров».

Течет по Конной тысячный гул, громогласны дьякона, в золоте риз возглашая славянству многолетие. Ответно гремит площадь — «Многая лета» — словно не церковным песнопением, а гимном восстанья.

2

Трудно императорско-королевскому командующему войсками, фельдмаршалу-лейтенанту князю Альфреду фон Виндишгрецу, хоть и чех он родом. Часто седлают курьеры коней к его апостолическому величеству, императору Фердинанду. Безволен увезенный из Вены больной монарх, но князь Виндишгрец знает волю эрцгерцогини Софии. С Софией иезуиты, сутаны, бритые гуменцы, нашептывают в Инспруке, вьют веревку. Виндишгрец ждет, чтобы только по телу Австрии пробежали судороги восстаний, он опрокинет, набросит удавку, затянет узлом. Поэтому и слушает спокойно «кошачьи концерты» славян, окруживших Пражский замок.

В гостиннице «Голубая звезда» дым, шум; распахнуты день деньской смежные двери номеров 14-го и 15-го; творится странное по пестроте костюмов, разнообразию говора; сильней всех гудит бакунинский бас.

Бакунин окружен вооруженными; доктор Карл Сладковский, русый чех, в гусситском камзоле; белые, спокойные близнецы, теологи, братья Страка, журналисты Арнольд и Сабина, жестяных дел мастер Менцль, купец Прейс, патер Андрей Красный, мельник Мушка; много членов «Сворности»; с чехами смешались кунтуши черногорцев, безрукавки словаков, польское штатское. У стены — выпущенный из берлинской тюрьмы повстанец Либельт с словаком Туранским, мораванином Захом. Шелестит рясой благостный, старообрядческий поп Олимпий Милорадов:

— Будь мы, славяне-то, — посолидарней, да не столь падки на чужеземное, никогда б и не подпали под власть иностранных династий.

Страстен перед собравшимися бакунинский бас.

— Верно, верно, что мы славяне, с трудом понимаем друг друга, но и у нас есть слово, которое понимают все славянские сердца! Это «Заграбьте нимцив!» — Сметайте немцев!.. — это наше слово знают от Эльбы до Урала, от Адриатического моря до Балкан, услышут его и на Неве! — потрясает кулаком Бакунин, — прав Коллар, что если б славяне были металлами, вылил бы он одну статую: голова — Россия! туловище — поляки! плечи и руки — чехи! ноги — сербы! а хорватов, словаков, словенцев, лужичан растопил бы в латы и оружие! О, перед этим извая-

нием, восходящим за облака, двигающим землею, вся Европа падет ниц! Мы противопоставим Гете — Пушкина! Мицкевича — Шиллеру! Наша болезнь — раздробленность и недостаток единства, но зато у нас есть свойство, за которое много бы дали племена старой Европы, — свежесть, за нами молодость! Она-то и призывает нас вступить в одряхлевшую жизнь мира и перестроить ее наново! Может ли старая Европа работать для рождения того нового, что есть ее проклятие и смерть? Может ли быть она союзницей той демонической, мир обновляющей силы, которая *нам*, братья славяне, прокладывает дорогу, чтоб мы могуче перелили нашу полноту крови, как свежие, весенние соки в жилы окоченелой европейской цивилизации! Нет! Никогда! Никогда не выйдет правда из лжи! Великое из посредственности! Свобода из несвободы! Мы последние пришельцы в развитии европейского общества чувствуем себя призванными к осуществлению того, что другие народы Европы приготовили, что теперь считается за конечную цель гуманности, величия, свободы и счастья всего человечества!

Славяне зашумели одобреньем, захватившему их, громадному, похожему на черного льва, человеку; забряцало оружие, крики — Слава! Слава! — наполнили комнаты «Голубой звезды».

3

Предгрозовые, летние сумерки ложились на древнюю Прагу; померкли купола, зашелестели в ветре сады, взволнованней понесла темные воды Молдава. Шумной толпой из «Голубой звезды» выходили славяне, меж искусственных пальм, пыльных зеркал, по коврам.

У Бакунина остался Либельт, мораванин Зах, отец Олимпий. Бакунин уславливался с Либельтом, где встретиться для выработки «Манифеста к европейским народам», порученного конгрессом. Никто так не кипел в эти пражские дни, как отставной прапорщик артиллерии Михаил Бакунин. Бакунин словно помолодел, был в своем элементе. Любил рев восстанья, шум клубов, площади, баррикады, любил и приготовительную агитацию, возбужденную и вместе с тем задержанную жизнь конспираций, консультаций, неспанных ночей, переговоров, договоров, ректификаций, шифров, химических чернил и условных знаков.

— Прекрасно, до завтра, — прощались Либельт и Зах.

Когда они вышли, Бакунин размашисто повалился в кресло, растирая лицо руками.

— Устали? — сказал отец Олимпий. У Олимпия бескаблучные, татарские сапоги, словно плывет он по бакунинской комнате.

— Устал, отец, устал. Наболтаешься за день, — потянулся широченным движеньем рук, зевнул и крякнул Бакунин.

К окну поднималась лиловая сирень; Олимпий вытянулся в окно и черная ряса смешно, как у женщины, обтянулась. Повернувшись, проговорил:

— Хорошо теперь на Днестре у нас, в Буковине. Благодать, Михаил Александрович; Днестр-то в желтых скатах, сады, вишенье, тишина вечерняя.

— Да, да, — глядя в пространство, в точку, задумался Бакунин, — хорошо, отец, вишенье и тишина. А, скажи, почему ж это ваш монастырь-то прихлопнули?

— Да разве ж не знаете за что император старообрядцев преследует? За то и разогнали, по приказу Николая Павловича, его приказ всему миру закон.

— Толком, батя, не понимаю я, какая разница между православием и старообрядчеством, расскажи-ка вкратце.

— Странно, что не понимаете, — помолчал Олимпий, — это с патриарха Никона повелось, все изложено в книжках, в «Истории о древних стригольниках и новых раскольниках» Иоанна Охтенского, в книжке господина Берга «Царствование Алексея Михайловича», в «Истории церкви» Павла Белокриницкого, почитайте.

— Достать бы эти книжки, отец, хоть одну бы какую-нибудь, непременно прочту. Займусь. Жаль, что вообще мало «фактов» знаю. А понимаешь, что тут может выйти, а? — Бакунин заговорил, откинув белой рукой кудрявые волосы. — На Руси то ведь старообрядцев и других расколов — пруд пруди, русский народ склонен к фанатизму и вот, отец, раскачать бы раскольников против Николая-то, а? За ними можно и крестьян поднять, тут, батюшка, если во главе движенья встанет новый народный Никита Пустосвят иль протопоп Аввакум, он и Стеньку Разина затмит! — подходя к попу, проговорил Бакунин.

Лицо Олимпия без выраженья, чуть скривился левый угол рта.

— Понятно, если с умом к делу подойти.

— Ну да, с умом! Этим должен заняться человек толковый, знающий старообрядчество. Вот, например, ты, батя? — хлопнул по плечу Олимпия Бакунин — А? Как? Иль кишка тонка? А даль-то заманчива, новым Аввакумом будешь.

— На костре-то? — чуть присев в пояснице тоненько засмеялся Олимпий.

— Зачем на костре, сам говоришь, с умом надо.

— Оно так, Михаил Александрович, да ведь нет у нас с вами того, что нужно. Ну, что мы на съезде всего двое россиян и те беглые? Нужны многие люди, а главное — средства, без средств что сделаешь? Вот, если б со средствами-то, с иностранной державой какой.

«Плут, пройдоха, знает, где жареным пахнет», прищуренно смеясь, думал Бакунин и внезапно расхохотался грубо, оскорбительно для отца Олимпия.

— Эка, куда хватил, батя! Средствия и средствия говоришь!? Как Наполеон — аржан, мол, ха-ха-ха! Правильно, сан заржан ничего, батя, не поделаешь, ну я, брат, вечерять то в ресторацию на низ пошел.

Приглаживая масляные волосы, бесшумно проплыл сапожками отец Олимпий.

4

Тайное общество «Славянских друзей» ждало глубокой ночи. Бакунин ждал этого часа в первом этаже «Голубой звезды» в ресторане. Вид ресторана необычаен; за столиками — вооруженные, разноцветные славяне, подвыпившие поют. Никто так и не пьет и не поет, как славяне; все веселы, словно перед боем.

В углу боязливо оглядывался заезжий еврей с глазами кролика и двое немцев старались не обращать вниманья на славянские песни.

— Лучше бежать в Каир! Тут висит гроза, несколько дней и она разразится, — понизив голос говорил, лысый немец длинноволосому, очкастому человеку, похожему на писателя.

— Неужто, так плохо? Мне думается, вы преувеличиваете, славяне любят пошуметь, но что б что-нибудь из всего этого вышло?

— Варфоломеевская ночь, вот что выйдет, — тихо проговорил лысый.

За славянскими столами зазвенели бокалы, сворнисты грянули гусситскую песню.

Мимо немцев, смеясь в сторону песни, прошел громадный Бакунин, размахивая цыгареткой. Остановился, выбирая взглядом место и, сев, подозвал лакея, долго объясняя, заказывая еду.

Очкастый, сутулящийся, длинноносый человек, только что говоривший с лысым немцем, пристально разглядывал монументального главу «Славянских друзей»; под очками плавала улыбка, словно человек был и чем-то до крайности удивлен и весел. Наконец, выпив остаток сельтерской воды, человек встал, направившись к Бакунину.

— Если не ошибаюсь, господин Бакунин? — проговорил по-немецки.

— Ах, Мейсснер, — оторвался Бакунин от еды, — не ожидал, какими судьбами?

— Проездом во Франкфурт, — садясь, сказал Мейсснер, еще знававший Бакунина по Парижу.

Но Бакунин взглянул недружелюбно, сказал зло:

— Во Франкфурт? Что ж, господин немец, едете туда продавать чехов?

После паузы Мейсснер произнес:

— Если для вас богемский депутат — «продавец» чехов, то я, вероятно, продавец.

Бакунин доедал необычайную, чрезмерную порцию мяса; брови сошлись, прожевав, утираясь салфеткой, сказал:

— Богемия — славянская страна и всякий немец здесь враг!

Цветную капусту лакей поднес завернутую, как новорожденного ребенка, теплыми салфетками. Бакунин отодвинулся, когда лакей накладывал на тарелку множество капусты, поливая маслом с сухарями; Мейсснер саркастически глядел на гигантские порции.

— Мне кажется в Париже, Бакунин, вы были иного мненья о чехах, называя их выкидышами славянства, которые благодаря немецкой культуре и немецкой крови так дегенерировали, что истинные славяне не должны признавать их братьями, помните? Отчего ж это все так сразу переменилось?

Бакунин оторвался от капусты, взглянул в упор вспыхнувшей синевой глаз на худого, желтоватого, немощного Мейсснера.

— Мой господин немец, — сказал отчеканивая, — я охотно признаю, что два года назад был иного мненья о чехах, не зная их близко. Теперь я их знаю! Это старые гусситы, это кажется невероятным, но чехи воскресли! Что ж, вы не видите, как все здесь одушевлено славянством?

— Для жизни одного одушевления маловато...

— Не говорите старых истин, которые звучат сейчас пошлостью! Здесь, в Богемии, как нигде бьется единственная в мире свежесть. В славянах несравненно больше природного ума и энергии чем в немцах! А главное — в них молодость. Если б вы видели братскую встречу славян, это дети одной семьи, в первый раз свидевшиеся после долгой разлуки. Они плакали здесь на улицах, обнимались, смеялись и все это без лжи, без пошлой фальши, так присущей европейцам!

В дверях раздался шум голосов; ударились о косяки настежь отлетевшие двери. Гомонной пестротой ворвались члены «Славии», «Сворности», с поляками, кроатами, словаками.

— Смотрите! — воскликнул Бакунин, — смотрите на этих молодцов! Они все братья! Вот он ставший жизнью панславизм!

Мейсснер с болезненным выражением лица отвернулся. Вломившаяся молодежь, крича, мешалась с сидевшими. Бакунин глядел на них радостно, улыбался, наливая в два бокала шампанского.

— Простите, я не пью, Бакунин, и я не понимаю, как эта странная, дикая романтика вяжется у вас с вашими взглядами? Вы же прекрасно знаете, что между чешским, сербским и русским народами разница также велика, как между немецким, датским и голландским. Ваш славянский парламент будет конгрессом братьев, не понимающих друг друга, — Мейсснер резко расхохотался, — хорошее братство! Иль вы надеетесь на повторение в Духов день чуда с языками? Ну, тогда вы, разумеется, побратаетесь!

Бакунин отшвырнул салфетку, смерил Мейсснера с презреньем и высокомерием.

— Господин немец! Все это верно, мы, славяне, понимаем друг друга с большими трудностями, но там, где нам не хватает языка, начинается симпатия родственных душ. Не вам, немецкому еврею, смеяться над этим! К тому ж у нас есть слова, понятные решительно всем славянам от Эльбы до Урала, от Адриатического моря до Балкан, и приводящие все славянские сердца в одинаковое действие! «Заграбьте нимцив!» Поняли?

5

В полночь номер 14-й «Голубой звезды» дышал дымно, дымили кривыми, прямыми трубками, цигаретками, сигарами; на середину был выдвинут стол, за ним, распластав громадные руки, сидел великан — Бакунин. Справа секретарствовал бледный Адольф Страка, рядом с ним, в национальном костюме, красавец-студент Иосиф Фрич. Слева, в низком кресле, черноглазый, бойкий, товарищ председателя, поляк Юлий Андржейкович. Грыз трубку в углу рта словак Туранский, грязноватый, тяжелый; редактор «Обцанске Новины» Эммануил Арнольд, испитой и бесцветный; неопределенных лет редактор «Новины Славянской Липы» Карл Сабина; жестяных дел мастер Менцль, патер Андрей Красный; сдвинулись кучкой неизвестные лужичане, сербы, кроаты, два бородатых бронзовых черногорца. Бакунин говорил пониженно, плавно катился раскатистый низкий голос. Разнообразные лица сковывались взглядом его синих, выжидающих глаз. Иногда он чуть взмахивал большой, белой рукой; иногда тихо ударял по столу и вздрагивал тогда поляк Андржейкович.

— Братья, мы члены «Славянских друзей», червленнейшие республиканцы-демократы, должны превратить себя в одну жажду революции, в одну революционерную страсть! К будущей весне демократические немцы готовят всеобщее повстанье Германии, мы, славяне, для нашего дела должны соединиться с ними, также, как с мажиарами. Посредничество между славянами и немцами я беру на себя. Посредничество между Кошутом и венгерскими славянами должен взять на себя брат Туранский. Богемия должна стать центром славянского революционерного движения, здесь все назрело и если мы не смажем ружей, то их смажут другие. Некоторые из нас говорили о Польше, но нам нужна свежая почва, Польша истощена и демора-

лизована пораженьями; к тому ж, многие из поляков могут дать начавшейся революции исключительно польский, частный характер и тем самым предадут славян западноевропейским демократам. Это нам не с руки, — Бакунин стукнул по столу. — Прага, вот род Москвы, сердце славян и, если Прага поголовно встанет, она увлечет и прочих славян, наперекор Палацкому и другим приверженцам австрийцев. Наша главная надежда должна быть, при помощи Праги поднять всю Богемию. Ошибка немецких и французских демократов состояла в том, что их пропаганда ограничивалась городами и не проникала в села. Села оставались равнодушными зрителями революции. Мы не должны повторять этой ошибки, мы должны в первую голову вместе с Прагой поднять богемских, чешских, а равно и немецких крестьян. Нет ничего легче, как возбудить революционный дух в земледельческом классе, в этих Häusler и даже совсем бездомных деревенских людях! Я утверждаю, что нигде крестьяне не склонны так к революционерному движенью, как в Богемии. Феодализм, тяготы, притеснения, господские суды, феодальные налоги, наборы в войска, сборы десятины, этого чересчур достаточно для пропаганды и поднятья крестьян, живущих наполовину волками в камышах, наполовину свиньями в хлевах. Кроме того, от безработицы уходящие с фабрик работники, судьбой призваны быть рекрутами демократической пропаганды. Кто не слышит в богемском народе всеобщего ропота и неудовольствия, тот слеп. Я убежден, что нам будет легко двинуть крестьян на восстанье! Но это еще далеко не наша революция. Наше восстанье, эта богемская революция, которая станет началом всеобщего европейского повстанья, должна быть стремительной, решительной, радикальной, словом такой, которая если б даже и была побеждена впоследствии, успела бы однако все так переворотить и поставить вверх дном, что австрийское правительство даже после победы б не нашло ни одной вещи на своем месте. Для этого мы должны воспользоваться тем благоприятным обстоятельством, что все дворянство в Богемии, да и вообще весь класс богатых собственников состоит из немцев. Надо против них поднять славян. Восстаньем мы изгоним всех дворян, всё враждебно настроенное духовенство, конфисковав без разбора все господские именья, отчасти разделив их между неимущими

крестьянами для поощренья их к революции, отчасти превратив в источник для чрезвычайных революционерных доходов. Восстанье должно разрушить все господские замки, сжечь, уничтожить во всей Богемии решительно все процедуры, все административные, судебные, правительственные, господские бумаги и документы, объявить все гипотеки, а также другие неоплаченные долги, превышающие известную сумму, несуществующими, — (на лицо Андржейковича тут выплыла неприметная посторонним улыбка) — наша революция, — раскатывался бас Бакунина, — должна быть победоносна, а потому ужасна, беспримерна, только такая революция может стать подлинной революцией и расчитывать на успех. Переворотив все, она так въестся в кровь и в жизнь народа, что даже, если б она была побеждена, то пришедшее правительство не было б никогда в силах искоренить ее, не знало б с чего начать, что делать, не могло б ни собрать, ни даже найти остатков навек разрушенного старого порядка и никогда б не могло помириться с богемским народом. Такая революция, по своей цели не ограничивающаяся одной национальностью, увлечет червленно-огненной пропагандой не только Моравию, австрийскую Шлезию, но и прусскую Шлезию, да и вообще все пограничные немецкие земли и германская революция, бывшая до сих пор революцией фабричных работников, мещан, литераторов и адвокатов, превратится в огненную общенародную революцию. Ее пламя запылает над Европой, сжигая старый, дряхлый, гниющий порядок!

Бакунин вдруг встал во весь рост, и заговорил еще страстней. Все кругом молчали. Некоторые неточно понимали, но точно чувствовали.

— Мы превратим Богемию в лагерь, создав в ней силу, способную не только охранять революцию в самом крае, но и действовать во вне наступательно, возмущая народы к бунту, разрушая все, что только носит на себе печать австрийской породы! Мы пойдем на помощь мажиарам, полякам, мы, — взмахнул кулаком Бакунин, — двинем беспощадную революцию в Россию! О! — Бакунин словно даже покачнулся, — во мне есть инстинкт буревестника! Эта революция близка и она будет беспощадна! Наша обязанность будет громко провозгласить необходимость разрушения России, как империи, как государства. Это долж-

но быть первым словом нашей программы! Мы создадим новое, революционерное правительство с неограниченной диктаторской властью, будет изгнано дворянство, все противоборствующее духовенство, уничтожена впрах администрация, изгнаны чиновники. Могут быть сохранены только некоторые из главных, из наиболее знающих, для совета нам и как «библиотека статистических справок», — усмехнулся Бакунин. — Мы уничтожим все клубы, журналы, все проявленья болтливой анархии, все будет покорено одной диктаторской власти! Молодежь и все способные люди, разделенные на категории по характеру, способностям и направленью каждого, мы разошлем для того, чтобы дать им провизорную революционерную и воинскую подготовку. Народные массы должны будут быть разделены на две части; одни, вооруженные, но вооруженные кое-как, останутся дома, для охраны нового порядка и будут употребляться на партизанскую войну, если таковая случилась бы. Все ж неимущие молодые, способные носить оружие, фабричные работники, ремесленники без занятий, а также большая часть образованной мещанской молодежи составят регулярное войско, не фрайшаррен, но войско, которое должно формировать с помощью старых польских офицеров, отставных австрийских солдат, унтерофицеров, возвышенных по способностям и по рвенью в разные офицерские чины. У нас будут огромные издержки, но они покроются отчасти конфискованными именьями, чрезвычайными налогами и ассигнациями! — Бакунин говорил страстно, словно даже не видя окружающих, словно сквозь стены гостинницы «Голубая звезда» говорил в столетья. А когда кончил, — Андржейкович заговорил по-русски легким польским тенором, путая слова:

— Мне выпали слезы, брат Михаил, слушая твои планы. Но будет ли у нас какая шанса сделать демократическую революцию, когда у нас нету денег? Богемия бедна, ты сам знаешь, ходят здесь деревянные да кожаные монетки, так есть ли у нас какая шанса? Вот что я хотел спросить? У нас есть отчаянные головы, я могу доставить тебе завтра 1000 человек, но нам не достает денег, а без денег черт удастся восстанье. Надо обсудить откуда взять деньги?

В дыму трубок Бакунин стоял задумчивый, собранный внутрь, на широкой груди скрестив руки. Когда плавный,

певучий напев Андржейковича кончился, Бакунин не возразил. Заговорил словак Туранский; высказался даже неизвестный лужичанин и два черногорца. Потом в наступившее молчанье взял слово Бакунин, бурно подминая под себя всех; эта вторая была не речь, а призыв верить огням восстанья. Окончив его, Бакунин перешел к делу, проверяя у Сабины установлены ль, крепки ль связи с «Сворностью» и «Рипилем», надежна ли связь Сладковского с студенческим легионом, можно ль, как думают патер Красный и мельник Мушка, по знаку заговора из «Голубой звезды» поднять окрестных крестьян и работников-ситцепечатников в день св. Духа, чтобы развернуть восстанье в общебогемское и пустить по Европе революционной волной.

6

На рассвете «славянские друзья» вышли от Бакунина. Бакунин долго ходил по комнате, широким шагом, опустив львиную голову. Бакунин метался; страсти и мысли, охватившие, были нестерпимы. Словно слышал шумно ходившую кровь. В ушах стоял гул, крушенье, разрушенье старого мира. Бакунину не хватало дыханья, он распахнул окно. В рассвете тянуло расцветшей сиренью и свежестью утра.

7

Тяжелый, темный словак Туранский, сидя, в гостинице «Золотой рог», думал о деньгах, о князе Виндишгреце. Член тайного общества «Славянских друзей», Туранский был послан предупреждать о славянских замыслах и провоцировать славян на крайности.

8

Молдава катила синие воды; день был в разгаре, малооблачный и жаркий. Проходящие мимо зданья на Софийском острове пражане, дамы в кринолинах, мужчины в цилиндрах и сюртуках, останавливались, дивясь шедшим депутатам славянского конгресса.

В здание Софийского зала средь пестроты камзолов, кунтушей, чекменей, безрукавок прошел быстрый, чуть нагнувшийся, Бакунин, в черном плаще, черной шляпе. За ним, еле поспевая, подбирая рясу, прошелестел отец Олимпий.

Чуден небывалый в истории съезд славян. Встретились разбросанные по свету братья, свиделись после долгой разлуки. Радостная встреча перешла в крики, в бурю, в восторги. В этом шуме Бакунин чувствовал растроганность и необъяснимое волнение.

Староста съезда, онемеченный сухой Франц Палацкий, в глухом сюртуке, от имени чехов поднялся на трибуну, под богемскими и всеми славянскими знаменами. Открывая съезд, заговорил профессорски. В зале ж стоял никогда невиданный Прагой радостный хаос: сербы, поляки, мораване, русины, лужичане, хорваты, словенцы плохо понимали язык Палацкого. Его сменил на родном языке моравачин Дворчачек. По-словенски заговорил Мато Топалович. От сербов Даничич Попович, от украинцев по-украински говорил Заклинский. По-словацки страстную речь произнес пастор Милослав Гурбан. На трибуну во флагах, поднялся освобожденный из тюрьмы Карл Либельт, говорил по-польски. И чем ни страстней текли славянские речи, недоуменней становилось замешательство зала, пока на трибуну в знаменах не взошел Бакунин, крикнув по-русски:

— Братья!

Бакунин улыбался.

— Я позволю себе, господа, предложить ораторам славянского конгресса, дабы все члены понимали друг друга, говорить, так сказать, на «общеславянском» языке — немецком!

Вместе с хохотом взорвались аплодисменты, прерывая Бакунина. Такой смелости смеялись даже в президиуме маститые ученые славяне — граф Коловрат-Краковский, Шафарик, престарелый Карадичич, Любомирский, секретарь съезда Гавличек, улыбался просвещенно и Франц Палацкий.

Бакунин стоял великолепен своей львиной силой, своей безоглядностью. Не походил ни на сухость Палацкого, ни на горячность Карла Либельта. Бакунин простоял несколько минут безмолвно, по-бычьи опустив голову. Вдруг как-бы очнулся, выпрямился и заговорил. Возгласы, удары грома, сверканье молний, рев бури, что-то стихийное, поражающее, непостижимое. Бакунин кричал. Местами мысли были неясны, неточен язык, но конгресс взят напором захватывающего чувства. Бакунин говорил о мировой роли славянства, определяя путь, силу и значенье славян в мире.

Эти струны были самыми звонкими и Бакунин ударял по ним так, что, дрожа, отвечали струны гудом, гулом, всплесками рук.

— Братья, славяне! Пробил решительный час! Дело идет о том, чтобы открыто и отважно решить, чью сторону взять славянам! Сторону ли развалин старого мира, чтоб поддержать его еще на короткое мгновение или сторону нового мира, заря которого занимается. От вас, от вашего выбора зависит, удастся ли всем народам, стремящимся к освобождению, достичь цели быстро или же эта цель, если она и не может никогда исчезнуть, все ж должна отодвинуться в необозримую даль. На вас обращены полные ожидания глаза человечества. На том, каков будет ваш выбор покоится и дальнейшая судьба мира!

Грудные, усиливающиеся выкрики могучего голоса возбужденно затопляли зал.

—Славяне! Братья! Мир разделен на два стана. И между этими станами не проложено средней дороги. Здесь — революция, там — контрреволюция — вот лозунги. На один из них должен решиться каждый, и мы, и вы, братья, должны решиться. Взгляните твердо и проницательно в искаженное злостью лицо вероломного старого мира и вы проникнетесь страхом и отвращением от его своднических приманок. Так, долой же угнетателей, да здравствуют угнетенные! Самые дерзкие мечты близки к исполнению. Народы видят, как с могилы их независимости сваливается, словно сдвинутый невидимой рукой, тяжелый камень тяготевший целые столетья! Волшебная печать сломана, дракон, стороживший болезненное оцепенение стольких заживо погребенных, лежит убитый и хрипящий. Занялась красная, как кровь, заря весны народов. Старая государственность погружается в ничто, новая политика вступает в жизнь, политика народов, конечной целью которой будет — Всеобщая Федерация Европейских Республик!

Аплодисменты понеслись с задних рядов конгресса. За столом президиума — руки Палацкого, Любомирского, Шафарика, Гавличека — остались недвижны. Но овация россиянину разросталась. Бакунин стоял, опустив львиную голову.

— Братья! Я славянин, я русский! — встрепенулся он, — И я говорю вам от имени этого народа! Но разли-

чайте, братья славяне, если вы ждете спасенья от России, то предметом вашего упованья должна быть не порабощенная холопская Россия с притеснителем и тираном Николаем, а возмущенная, возставшая для свободы Россия, сильный, русский народ! Верьте мне, братья, что указы деспота не выражают наших чувств, наших желаний и нашей воли. Нет и еще раз нет! Это искажение того, что живет в глубине нашего русского сердца! Наше племя глубоко чувствует срам и позор рабства, в котором держит его деспот, оно наибольший враг того, кого многие из вас считают еще истинным представителем русской народности. Мы — враги этого палача, этого мучителя и посрамителя нашей чести! Кто он? Славянин? Нет! Голштинско-готторпский господин на славянском троне, тиран чужеземного происхожденья! Друг своего народа? Нет! Расчетливый деспот, без сердца, без всякого чувства ко всему русскому, ко всему славянскому, без малейшего понятья о том, что скрыто, что кипит и клокочет в русском народе! Но русский народ пресыщен, утомлен порабощеньем и позором, он устал служить жалким орудием достойной проклятья политики. Братья, не обманывайтесь внешним видом, будто этот народ-великан до сих пор лежит скованный по всем членам железным волшебным сном. Я говорю вам, он спит неглубоко, он только тихо дремлет, он уже начал пробуждаться, его час пробил! Не обманывайтесь уверенностью Николая в верности войск, в подчиненности масс. Я говорю вам: эта вера пошатнулась, а удары кнута — плохое средство, чтобы оживить веру!

Братья славяне! Я зову вас порвать раз навсегда с реакцией, порвите со всякой половинчатой, недостойной вас политикой и бросьтесь отважно, всецело в объятья революции! В ней — все ваше пробужденье, ваше воскресенье, ваша надежда, ваше спасенье и ваша будущность! В ней, только в ней! Доверьтесь ей! Вы должны довериться потому, что она неплохой союзник. Вам говорят: она упадет под ударами контрреволюции. Это ложь! Оглянитесь, посмотрите на ее дело! Не изменяется ли все в европейском мире? Разве он не сделался вдруг хаосом, в котором именно те, кто стараются восстановить порядок старого мира, вносят только еще большее замешательство своими созывами войск, бомбардировками и осадами, своими громко вопиющими о мести насилиями, бойнями и опу-

стошениями! Революция — сила! Революция правда, революция спасение этого времени, революция единственная практика, ведущая к добру и удаче! Вне ее нет ума, нет мудрости и политики. Она одна может создать полноту жизни, даровать непоколебимую уверенность, придать силы, творить чудеса, превратить в одну живую жизнь — весь мир! Верьте ж революции! Отдайтесь ей вполне и всецело! Знайте, что без революции нет славянства!

Крики — Слава! Слава! Елей Бакунин! Живио! — наполнили зал конгресса; и когда под пестрыми знаменами поднялись с мест славяне, грянуло разливающееся «Гей, славяне!»

9

Таяла в солнечном золоте Прага, изнывали от жары поля Богемии; жара не спадала, шел 12-й день конгресса, депутаты казались утомленными; часто видели Бакунина в корридорах съезда, спорящим с Францем Палацким.

В «Голубой звезде» по ночам заседали «Славянские друзья» с представителями «Сворности», «Рипиля», «Славии», семинаристами из Клементинума, студентами, ткачами, набойщиками ситца. Отчаянные головы южных славян, опьянев от жажды действия предлагали сигнализировать восстанье — убийством Виндишгреца на славянском балу.

10

Фельдмаршал-лейтенант князь Альфред Виндишгрец в главном зале Пражского замка принимал депутации. Курьеры из Вены и Инспрука осведомляли о развивающейся революции. Агенты конгресса доносили: восстанье близко. Но Виндишгрец не волновался. Приказывал генералу Шюльте стянуть войска, быть готовым занять господствующие над городом высоты Градчина. Фельдмаршал ждал восстанья ,любил риск и был игрок беспощадный, если повезет в игре.

Аристократ до конца ногтей, князь верил, что человек начинается только с барона. Ладонь подавал немногим. Лакеев бил серебряной шпорой. Фельдмаршалу хотелось проучить пражскую сволочь. Адъютанты, граф Вильчек и граф Андраши, осведомляли о настроеньи войск. Виндишгрец приказывал увеличить довольствие, поддать пива. «Войска должны быть сыты до отвалу», — говорил он.

11

Ночь накануне Духова дня — душная, мутная, безветренная; тяжесть тянула над Прагой. В «Голубой звезде» толчея; скачут, мчатся верховые в Клементинум, в предместья, на фабрики, Бакунин, как в лихорадке, кружится голова, не хватает времени. То требуют появленья среди ситцепечатников, то просят распорядиться куда свозить порох и пули. Как лунатики ходят Страка, Сабина; Арнольд отговаривается подагрой, уехал Андржейкович, в нетях патер Красный. Кругом нерешительность, хорошо еще крепки застрельщики семинаристы, наэлектризованные Сладковским; меж студентов храбры Фрич и Виллани. Они первыми нападут на цейхгауз, это будет первое сопротивленье войскам. Меж ремесленников работает Фастер, но малонадежен, хоть и доносит, что ремесленники подымутся.

Суета в «Голубой звезде» у Бакунина. Бакунин говорит охрипше, как долго лаявшая собака.

— Если не удалось убийство Виндишгреца на балу, надо одно, чтобы в Духов день на улицы вывести всех наших сторонников. Тогда достаточно выстрела в ненавистные войска и вы увидите, восстанье вспыхнет само собой, как после выстрела на Карузельской площади в Париже.

Нервно у «Славянских друзей»; кажется, волны восстанья высоки, вот-вот хлынут. В музей свезено 24 фунта пороху, в распоряженьи «Сворности» 2 000 пуль; в «Славии» собрали двуствольные ружья. Ситцепечатники готовы броситься на военное управленье, брать его приступом.

Из деревень доносят, что три села готовы по сигналу двинуться на столицу, с вилами, косами, топорами. На окраинах уж начались волненья, разгромили две еврейских лавки; ожиданье Духова дня томит низы города.

12

Духов день наступил; уж с ранним рассветом отлетела от Праги прохлада. В десять раскалились камни мостовой, стены домов; в такой жар не выходить бы из дому. По заборам пестрит красная афиша: — «Пражане, вниманье! оставайтесь дома!» — А Прага с Троицы стоит в зелени берез, венков, в цветах, полы церквей устланы

травой. Марит, дрожит голубой воздух над Прагой, быть грозе.

В этот жар на Конную первыми пошли отряды «Сворности». Князю Лабковичу, командиру национальной гвардии сообщили: за порядком в Духов день следит «Сворность». Вьются плащи командиров студенческих батальонов, перья на шляпах. На богослуженье к статуе доброго герцога Вацлава стекаются славяне. Вышли колонны «Славии», члены «Рипиля». На рассвете Бакунин проехал в Клементинум. Через конные ворота на Конную площадь идут ситцепечатники; заполнили переулки, из толпы несутся угрозы военным патрулям при гауптвахте; началась, льется ароматным пеньем православная литургия.

13

В широком, светлом зале Клементинума Бакунин застал всех в сборе: пастор Гурбан, крупный, животастый человек; Сладковский, Виллани, Фастер, Густав Страка, хромоногий Арнольд, представители «Сворности» и ситцепечатников.

На столе, где экзаменовали семинаристов по гомилетике — планы Вышеграда и Градчина.

— Говорите, Виндишгрец отведет войска к Градчину, откроет огонь?

— Ну да, что вы будете делать? — говорит пастор Гурбан.

— Драться! — злобно кричит Бакунин, отрываясь от карты, — что, сдрейфил яростный пастор?

Это верно, кругом путаница и паника.

— Сегодня приезжает в Прагу эрцгерцог Карл Фердинанд, хочет пойти на уступки народу, — говорит Сладковский.

Бакунин не ответил; торопливо вошел взволнованный Карл Сабина.

— Обедня началась, — задохнувшись, проговорил, обращаясь к Бакунину, — работники собрались тысячи две, наши там, все готовы, «Сворность» охраняет порядок.

— А войска?

— Войск один патруль у гауптвахты.

— Но еще нет никого от деревень.

— А служба уж идет?

Сабина пожал плечом. Почему Бакунина окружает такая нерешительность и вялость? Вчера готовый биться на улицах, пастор Гурбан сидит в углу, подавленный, безучастный; Арнольд хромает, жалуется, как всегда, на подагру. Бешенство приливает к сердцу Бакунина: бить бы их палкой!

— Арнольд и Страка! — Бакунину сейчас нельзя возражать, — толпу после службы надо разорвать, двинув демонстрацией; сделать это просто, достаточно крика и толпа пойдет. Смотрите сюда, — указывал белым пальцем на карту Бакунин. Встал и пастор Гурбан, все окружили Бакунина. — Пусть студенты и «Сворность» двинутся после литургии с Конной на Новую аллею, отсюда часть свернет к Грабену, к замку Виндишгреца, хорошо б сюда свернуть работников, пусть они идут ко дворцу. Путь: по Бергманштрассе, через Эйзенгассе, по Рингу Старого города к Цельтнергассе — это одна демонстрация. Другая — двинется через Грабен, мимо Пороховой башни, к главному управлению, у замка Виндишгреца работники устроют ему кошачий концерт. Я поеду к дворцу, а вы двигайтесь с другой частью. Штаб перенесем в «Голубую звезду» и там решим сообразно обстоятельствам. — Обращаясь к офицеру из «Сворности», Бакунин проговорил: — Езжайте на окраину, надо с предместий двинуть больше работников и крестьян. Наш успех от первого натиска на главное управленье и цейхгауз. — Длинный палец Бакунина на картах Вышеграда и Градчина указывал пункты приступов, наступлений, атак.

14

Дьякона в золоторозовых, зеленоватозолотых ризах, похожие на темно-раззолоченные столбы, торжественно возглашали на Конной площади многолетие славянству, перед алтарем, у статуи св. Вацлава. Плыли камилавки протоиереев, скуфейки иереев, колебались в жаре Духова дня хоругви, с изображением ангелов и святителей. В недвижном воздухе замирали расплавленные хоры; и вот на колени опустилась многотысячная толпа, подхватывая «Многая лета!»

Но концы дрогнули, вставая, заколебался и центр; длинным, извилистым рядом толпа тронулась к золотым крестам, что держали четыре усталых протоиерея, благо-

словляя толпу. На Конной обнимались славяне, клялись в верности славянскому делу, если б даже пришлось пролить кровь. Пестрые члены «Сворности», «Славии» смешались, обходя вокруг старой статуи св. Вацлава. Но раздалось — Вперед, братья! — и густота тысячной толпы двинулась первыми колоннами с плавно дышащими в воздухе славянскими трехцветными знаменами.

— На Новую Аллею! — закричал студент в плаще, с перьями на шляпе, взмахивая саблей; голос передали по толпе. Колонна грянула «Гей, славяне!», завертывая к Новой Аллее.

— Показаться Виндишгрецу! — Пройти перед Виндишгрецом! — Вперед, братья! — Словно случайно разрывалась толпа; часть свертывала к Грабену. На Бергманштрассе от льющейся массы вновь отвалился живой кусок, вея знаменами, поплыл под песни через Эйзенгассе по Рингу Старого города к Цельтнергассе. Толпы ситцепечатников с студентами лились, как расплавленный свинец, мимо Пороховой башни к Пражскому замку. В духоте летнего воздуха билась песня Кукулевича «Где отечество славян». И чем ближе вырастал замок австрийского главнокомандующего, ожесточенней шла толпа прямо на замок.

15

В сводчатом зале, в присутствии свиты, князь Виндишгрец принимал депутацию «Союза спокойствия и порядка». Князь стоял в гусарской форме, как-будто чуть рассеянный. Толстые депутаты, в сюртуках, в руках с цилиндрами. Пражский городской голова граф Рудольф Стадион, отдышливый, быкообразный человек произносил ветвистую, приветственную речь.

Виндишгрецу скучно от длинноты речи штатского человека. Тонкими, как у женщины, пальцами князь трогал то пуговицу мундира, то темляк сабли. Освещенный окнами профиль Виндишгреца сух, в кудрявых бакенах; на мундире поблескивала колодка орденов.

Как сердечный больной тяжело переводя дыхание, Стадион кончил; Виндишгрец сказал холодно, без всякого выраженья.

— Я хочу верить чувствам выраженным мне депутацией славного австрийского города Праги. Смею уверить,

что приму все меры к поддержанию спокойствия и порядка в столице Богемии.

До присутствующих донесся свинцовый гул толпы, приближающийся, смелеющий, словно катящееся ядро. Когда ударил набат, городской голова Стадион побледнел и депутаты переглянулись. — Что это? — сказал тихо, в пространство городской голова. Свита князя метнулась к окнам. Повернув голову в полоборота, сведя над ястребиным носом брови, Виндишгрец спросил:

— Что за шум, граф Андраши?

Лейтенант в такой же гусарской, как князь, форме проговорил от окна.

— От Пороховой башни движется толпа, ваше сиятельство.

Виндишгрец кинул депутации:

— Прием окончен.

Депутация, торопясь, выходила из зала. Славянская толпа залила уж площадь перед замком, наполняя ее, как прибоем; — кричали по-чешски, катился гул. Виндишгрец хотел услышать, что кричат. Рукой с гербовым княжеским перстнем распахнул окно: ворвался рев, крик, с отворенным окном внезапно усилившийся:

— На фонарь Виндишгреца!

Виндишгрец закрыл окно и чуть улыбнулся, бледно, с потемневшими глазами.

— Лейтенант Яблоновский, — обратился к сильному розовощекому блондину с разведенным ямочкой подбородком, — с полуротой гренадер Вохера — разогнать толпу, не открывая огня!

Лейтенант Яблоновский отчетливо повернулся, побежал по лестнице. Распахнулись замковые ворота; ощетинившись штыками, полурота гренадер пошла на толпу; впереди, прямо в нее, с обнаженной саблей, шел розовощекий блондин чех, лейтенант Яблоновский.

Виндишгрец стоял у цветного окна, смотрел злобно, хотелось смять конницей, расстрелять пушками. Яблоновский шел ускоренным, твердым шагом, Яблоновскому итти было не страшно, за собой слышал неотстающий шаг полуроты и чувствовал спиной ощетинившиеся штыки. Но толпа близилась, Яблоновский уж различал незнакомые лица, студенты в шапочках «Сворности», вот в цветах союза «Прага» и когда близился вплотную к чужим, враждеб-

ным, нерасходящимся людям, что-то дрогнуло внутри. Но тут же, чтоб побороть себя, Яблоновский повернулся к полуроте, крикнув что есть силы: — За мной! — хотел повернуться к толпе, но студент с вьющейся бородой, в цветах союза «Прага», из всех сил опустил на голову Яблоновского палку. Лейтенант споткнулся под чужие тысячи сапог. Гренадеры с штыками наперевес рванулись и чужие ноги отхлынули, побежали.

Заливаясь криками — Предательство! На баррикады! — площадь смешалась. Смешалось все и на Цельтнергассе, перекинулось в ближайшие улицы. Кто-то кричал, тащил камни, мешки, опрокинули почтовую карету, повалили тумбы, выломали газовые канделябры и подожгли вытекающий оттуда газ. В Старом и Новом городе из земли выросли баррикады. Улицы завалили опрокинутыми будками, перевернутыми телегами, старыми колымагами. Кричали об убитых, взятых в плен Виндишгрецом. В окна летела мебель, разворочали мостовые. В зеленой, золотой Праге в день святого Духа обывателям стало страшно. Рвут вόроты у рубах повстанцы, мучит золотое солнце. Бегут к баррикадам. Ощетинился штыками Старый город, полностью в руках восставших; и сам правитель Богемии, граф Лео Тун, заперт заложником в Клементинуме.

16

В «Голубую звезду» вбегали вооруженные. Спрыгивали у гостинницы с коней верховые, докладывали мечущемуся темному человеку. Бакунин чувствовал полное отчаянье и одиночество. Где пастор Гурбан, радикал Сладковский, Фастер, Виллани, Сабина, Арнольд? Бакунина окружала никогда невиданная им молодежь, чехи, словаки, даже немцы. Бакунин шлет их в музей, в захваченный семинаристами Клементинум. Эти неведомые молодые, сейчас самые близкие; а из прежних безотлучны при нем только Иосиф Фрич, да близнецы братья Страка.

В музее штаб «Сворности» еле отбивает атаку майоров Ланга и ван-дер-Мюллена. Гренадеры в медвежьих шапках, узких брюках и мундирах, прикрывающих только ребра, идут сомкнутыми колоннами на баррикады. Гренадеры звереют, как быки. На Вассерштрассе работники держатся, аттаку солдат из полка Гогенегга отбили камнями и револьверами. Но туда из переулка, вея налету султана-

ми, проскакали королевские уланы под командой графаМенсдорфа, саблями врубились в толпу рабочих. На Обстмаркт двинулся капитан Мюллер с двумя ротами пехоты: рассеять скопища, итти приступом на Каролинум. Полковник Майнон, с гренадерами, дерется против баррикад у Трех Лип. На Эйзенгассе в аттаку пошел генерал Райнер. На Конной, на Бергманштрассе растут баррикады, текут из предместий работники. Пролетарии дважды переходили в контр-аттаку против солдат на Бергманштрассе. В Пражском замке убита жена Виндишгреца. В Тринитарской казарме бьют тревогу. Виндишгрец выслал в аттаку гусарские части.

17

Второй день в «Голубой звезде» метался одинокий Бакунин, крича: — Верховые к крестьянам! Вести́ всех на город, пусть вооружаются чем попало! — Из «Голубой звезды» выбегали студенты и пролетарии, скакали из Старого города к деревням, в поля, потому что в музее «Сворность» сдалась уже на милость майора Ланга; разбиты три студенческих баррикады. Повстанцы идут на уговоры отцов города; доктор Клауди разъезжает по баррикадам, увещевает опомниться, обещая полное прощенье австрийского главнокомандующего.

— Пусть передаст Виндишгрецу! — кричит Бакунин посланцу доктора Клауди, — что, если хоть один защитник баррикад будет казнен, то захваченный граф Лео Тун будет повешен!

Но вести мрачны; аттаки кавалерии серьезны; под командой генерала Шюльте войска Виндишгреца заняли высоты Градчина; Виндишгрец грозит открыть бомбардировку .

— Пусть громит, будем биться! Увидим, как осмелится Виндишгрец расстрелять мирное население! — голос Бакунина срывается, еле слышен, хрипит. А кругом только незнакомая молодежь.

— В город въехал эрцгерцог Карл Фердинанд! — кричит вбежавший студент, — приближается, его пропускают через баррикады, бургомистр и муниципальные советники выехали навстречу просить о посредничестве, ему прокладывают путь, с ним полковник Майнон!

— Стрелять по нему, стрелять! — бешенно кричит Бакунин.

Кавалькада эрцгерцога близка, подъезжают к Пороховой башне. Из «Голубой звезды» загремели выстрелы и видно, как метнулись, понеслись игрушечным галопом всадники и заспешила коляска. Но в ответ, над Прагой с высот Градчина, с Стрелецкого острова, с Малой Стороны, свистят первые ядра, Виндишгрец повел обстрел. Генералу Шюльте приказано не жалеть снарядов, артиллерия бьет по баррикадам на Эйзенгассе, рушит соседние дома; из под ядер летят обломки мебели, камни, розовая пыль кирпичей. По улицам, куда попало, тащут раненых, у баррикад распростерлись вывернутые тела убитых. Виндишгрец бьет Прагу.

В который раз из Старого города скачут верховые подымать крестьян, но из верховых никто не возвращается. Хорошо еще, что есть день и ночь. Последними ядрами, упавшими в Молдаву, мутится река; и меркнет небо над золотой Прагой.

18

С близнецами братьями Страка и студентом Фричем, ночью Бакунин пробирался к последней, главной баррикаде, заграждавшей Ринг в Старом городе. В подвальной пивной «Белый конь» засел тут штаб. Бакунин, согнувшись, вошел в низкий подвал. У стен свалены порох, пули, ружья, их теперь слишком много. Спят за дубовыми столами усталые люди, спят на полу, в страшных вывернутых позах, как убитые. Командует баррикадой седой, косматый ситцепечатник.

— Устоим? — здороваясь, проговорил Бакунин.

— Между Грабеном, Новой аллеей и Малой Стороной они уж восстановили сообщенье, все баррикады взяты, держимся только мы да Цельтнергассе.

— Палацкий и Гавличек выступили с уговорами к примиренью, — говорит поляк-офицер, член конгресса, сидя у стены, отпивая из бутылки пиво, — они лижут зад Виндишгрецу, пся крев, славяне!

В большой глиняной кружке Густав Страка принес пиво Бакунину.

— На рассвете Виндишгрец начнет наступленье, если

мы не получим крестьянского подкрепленья, не выдержим, — проговорил Бакунин, отпивая.

Никто не ответил. Смертная тоска пустым кольцом сжала сердце Бакунина, вместе с ней навалилось безразличие, захотелось лечь, спать. Все молчали. Бойцы в пивной распоряжались, как дома, словно завтра их не расстреляет Виндишгрец. Кто сидел на полу у раскупоренных пивных боченков, кто тащил солому, чтоб спать. Входили с баррикад отдыхать. У стен в темноте дремали славянские несвернутые знамена; такие же реяли в темноте над последней баррикадой.

В подвале горели сальные свечи. Бакунин прилег в углу, задумываясь, отпивал из глиняной кружки, писал на клочке бумаги воззванье к народу: — «Братья, со славой выходим мы из предательской, неравной борьбы, не станем же отступать перед тем, что так славно начали. На нас смотрит вся земля богемцев и моравов, Вена и вся Европа: это богемский лев грозно пробудился от своего двухсотлетнего сна. Не позволим обмануть себя никакими обещаньями, за нами вся нация...»

В тусклости колеблемых свечей вбежали вооруженные. Бакунин узнал последнего посланца к крестьянам, вскочил зашумев упавшим стулом.

— Ну, ну? — повторяли кругом, окружив студента.

Студент задохнулся от бега, от страха, сел на стул, как упал от усталости.

— Кончено, — бормотал, — отрезаны.

— Как?! — вскрикнули голоса.

— Крестьянам и национальной гвардии, шедшим к нам, перерезала путь кавалерия Виндишгреца. А Палацкий и Гавличек уговорили крестьян вернуться, все наши верховые захвачены, к утру все кончится...

— Чего ты каркаешь! — наступил офицер-поляк.

Но студента бросили, разошлись; он у стола, опустив голову на руки, не то заснул, не то плакал. С Градчина громыхнули первые пушки. Перекатился в рассвете первый треск ружей. И снова ухнули с левого берега Молдавы орудия. Гренадеры в медвежьих шапках, подрагивая от холода, двинулись на приступ Старого города.

Баррикады молчали. В утреннике веяли два, еще неупавших, славянских знамени, да странно разведя руки, валялись возле них, на мостовой трупы.

19

В затененном парком, варшавском Бельведере, в двусветном зале, у амбразуры окна стоял пожилой человек с лохматыми, седыми волосами. Человек одет в мундир, с колодкой орденов, стоял в зале один. Хромой фельдмаршал Паскевич смотрел в окно, выходившее на запад.

Паскевич неожиданно повернулся. Прихрамывая раненой под Варшавой ногой, по-военному неся вперед грудью, заходил по залу. В голове: расчет сил, нового блеска, удара, славы, затмевающей Румянцева, Потемкина, Суворова.

К фельдмаршалу вчера на вспенившихся конях приехал посланник австрийского двора, граф Кабога. Австрийский граф умолял Паскевича двинуть войска для спасения Австрии. Граф Кабога был расстроен. В этом самом двусветном зале Бельведера внезапно опустился на колени перед седым фельдмаршалом, еле выговаривая: — «Дорога́ каждая минута, ваша светлость, каждый час, спасите Австрию!» — и, схватив сухую руку Паскевича, граф Кабога поцеловал ее.

Паскевич улыбнулся: «Это было, конечно, уж слишком, фельдмаршал Паскевич не женщина.» Подняв графа, Паскевич выговорил слова дружбы, успокоил. Звон шпор с хромотцей был неровен. Император в Москве освящает новый дворец, Паскевич не знал подлинных монарших настроений. Прихрамывая, Паскевич прошел к письменному столу в конце зала; и когда сел, задумавшись, в мундире, орденах, подперев седую, солдатскую, в неопрятно кудрявых бакенах голову, было странно: — словно на громадной сцене сидел фельдмаршал. До того был велик зал и до того мал казался Паскевич за длинным столом.

«Ваше величество!

Сейчас получил известие, что австрийское правительство намерено просить ваше величество занять Трансильванию. Сия неожиданная просьба весьма удивляет меня. Занять — это значило бы войти в такое место, где нет никакого препятствия, а тут до 80 000 тысяч вооруженных венгерцев и весь край в бунте. Итак, они хотят, чтобы ваше величество изволили всю тяжесть войны взять на себя. Не зная еще мнения вашего величества в положении сего дела, осмеливаюсь доложить: если согласиться на просьбу Австрии, то будет необходимо для удержания кня-

жеств еще употребить около 50 тысяч для действия в Трансильвании. Итак 85 тысяч будут употреблены нами в дело, при том прийдется вести войну самую трудную, в горах, населенных воинственными племенами, а тому доказательством то, что эта Трансильвания два века назад во время бунта, долго боролась против австрийских сил. По всему этому кажется выгоднее для нас держаться того предположения, которое я имел счастье предложить в последнем письме с переменой только того, чтобы сверх занятия восточной Галиции занять также и Буковину и охранять все выходы из Трансильвании. Когда же мы будем на местах, то можно будет дать руку помощи по тогдашним обстоятельствам. Но одно только надобно рекомендовать господам генералам австрийским: чтобы не отдавали проходов Карпатских гор, ибо тогда наша помощь им не будет действительна. Полагаю следующий план кампании российских войск: — 1) занять Галицию и Буковину и все проходы гор Карпатских. На сие употребить 4 дивизии пехоты, одну кавалерийскую и 160 орудий. Занявши вершины гор Карпатских, русские этим самым держат в повиновении все долины на 50 верст. 2) со стороны Валахии можно тот же маневр делать, но с осторожностью, ибо собранные там войска не так будут многочисленны, как со стороны Буковины и Галиции. Они должны наблюдать: если неприятель начнет слабеть против занимаемых нами пунктов или ослабит себя отрядами, то сходить с гор и разбить его. Заняв Галицию и Буковину, в Венгрию надлежит двинуться с двумя колоннами. Первой, под начальством генерала Ридигера (три пехотных дивизии и одна кавалерийская) итти долиной рек Арвы и Ваага на город Тренчин по направлению к Пресбургу, второй же, под начальством генерала князя Горчакова (трех пехотных дивизий и одной кавалерийской, собравшихся у г. Дукла) направиться на Бартфельд и Эпериеш, угрожая флангу и тылу неприятеля по направлению к Пресбургу и Коморну.

Равномерно испрашиваю, ваше величество, разрешение на соглашение с доверенным от Австрии, в случае надобности двинуть войска на помощь австрийцам без нового на то повеления вашего. А как я уверен, что ваше величество изволите дать им скорую помощь, то я и написал к нашему послу в Вене, барону Медему...»

Блеснув, дверь белого зала отворилась. На пороге стоял красивый сын фельдмаршала, капитан гвардии Паскевич. Отец отложил остро отточенное перо, проговорил:

— Ну, ты что?

— От австрийского двора, от князя Шварценберга, папа, курьер.

Фельдмаршал, оправляя мундир, поднялся.

20

Николай отвечал фельдмаршалу наспех, из Москвы: — «Вчера вечером получил я твое письмо, любезный отец-командир, с приложениями. Оно весьма важно. Полагаю, что скоро настанет нам время действовать. Не одна помощь Австрии для укрощения внутреннего мятежа и по ее призыву меня к тому побуждает, а чувство и долг защиты спокойствия пределов Богом вверенной мне России меня вызывает на бой, ибо в венгерском мятеже явственно видны усилия общего заговора против всего священного и в особенности против России. Приняв сие за основание и буде австрийцы повторят просьбу, разрешаю тебе вступать, призвав Бога на помощь.

Вступая в дело для подачи настоящей помощи, а не для одной диверсии, должно сие исполнить со всеми на то нужными силами. Надо, чтоб ты сам вел свои армии на новую славу, на великодушную помощь, да поможет нам Бог и ты будь его орудием.

Вразуми Ридигера сколько нужно ему будет действовать быстро, осторожно и решительно, надо, чтобы с первого удара нашего, дело было переломлено в пользу правого дела. Надо, чтобы, как громом грянуло и все было кончено.

Мы видим, что на австрийцев нет никакой надежды. Надо все твое знание дела, все твое искусство на одоление, но нужна и сила значительная. Полагаю, что тебе должно вступить с 2-м, 3-м и 1-й пешей (полагаю 12-й) дивизией четвертого корпуса, оставь 10-ю и 11-ю в Галиции и Буковине, с 4-ю легкой и всем драгунским корпусом и не менее, как с 8-ю казачьими полками. Жалею, что казаков не более в армии, ими надо будет истреблять шайки по всем направлениям. Об одном прошу, не увлекайся просьбами австрийцев, дай себе срок собрать все условия успеха и тогда с Богом действуй на наших врагов быстро, по-русски, не щади каналий. Жаль, если уйдут от заслуженной кары.

Ежели Вена и потеряна, дело ты исправишь, уничтожа гнездо бунта.

Видишь, любезный отец-командир, что было мне об чем подумать и признаюсь была тяжелая дума! Но слишком верю и уважаю твое мнение, чтоб с тобой спорить или препятствовать действиям по твоему убеждению: ты, варшавский герой, а я твой старый бригадный командир на парадной площади . . »

21

Под зеленой, летней Варшавой, у берегов Вислы, где разбились белым лётом, словно голуби сели на зеленое поле, палатки войск, на гнедом, мохнатом жеребце, в походной форме, усатый, квадратнолобый, сидевший в седле, как влитый, ехал генерал Панютин. Генерала окружали командиры полков, адъютанты. Били сбор, скакали ординарцы. Сам хромой старик пролетел в блестящей кавалькаде, подымая пыль, унося за собой громовое ура выстроенных панютинских войск. Перед фронтом Панютин приостановил коня, зачитал фельдмаршалский приказ, громко выкрикивая басом:

«Друзья-товарищи!

Доверенность, которой государь император по случаю предстоящих военных действий . . .» После приказа, охрипшим басом Панютин крикнул с прыгнувшего жеребца: — «Государю императору и фельдмаршалу князю Паскевичу ура!»

Сведенное в белое каре войско от крика взметнулось, дрогнув взятыми накараул ружьями, немолчным гомоном раскатываясь лесами, полями, заглушая туши ударивших четырех оркестров. И заиграли хвостами кони, заприседали на мохнатых казанках, завертелись, затанцовали под адъютантами, генералами, полковниками, перед белым строем полков, блестящих примкнутыми штыками.

Развертывалась безбрежным полем пехота. Подымала безветренную пыль. Пошли ротными колоннами брянские и орловские егеря. Выбежали вперед, торопясь, перед ротами песенники, на все поле гаркнули:

«Тучи темны, тучи грозны
По поднебесью идут!»

Брянцы уходили в поход первыми. Орловцы пылили в полуверсте. Севцы и черниговцы стояли еще вольно, до-

куривая, оправляясь, собираясь кучками. Унтер-офицер, заросший волосом, пахший перегаром, в пропотевшей рубахе, говорил столпившейся плотной куче солдат, пускавших махорочный дым из козьих ножек.

— Государь дал астрийскому королю денег взаймы, наступил срок уплаты, а он не платит, пишет ему государь, пишет, а толку сё нет, вот напоследок он и велел написать всему астрийскому народу, что, дескать, ваш государь занял у меня деньги, срок вышел, а уплаты сё нет...

Крайний солдат выжидательно-весело хохотнул:

— Ну а он?

— Вот тебе и а он! Заставьте, пишет государь, его заплатить. А народ рассудил, что наш государь требует дело и приступил к своему королю: — заплати, мол, да заплати, а король взял да и бежать с деньгами! Вот народ и разъярился, что король его неверный, потолковали промеж себя, да и положили *распубликовать* его по всей своей земле, сделали такую распублику! Но от такой распублики нам тоже толку нет, вот государь и приказал усмирить нам всех их, как ни на есть...

— Становись! — донесся тенор.

Походным порядком, колоннами двинулись русские войска, развевая воздух песней:

«Ох, вы ляхи, вы поляки, покоритеся вы нам,
Ежли вы не покоритесь, пропадете, как трава!
Наша матушка Россия
Всему свету голова!»

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Дрезден, зеленый, в белоголубом поясе Эльбы был прекрасен этой весной. За извивами, изгибами реки в синюю мглу уходили надгорья. Волнуются на волнах Эльбы белые паруса, дымят пароходы. Резиденция саксонского короля зацвела яблоней, вишней, миндалем, как сад, спускающийся террасами.

На Альт-Маркт меж цветных домов, исписанных масляной краской разноцветных вывесок, распрягали окрестные крестьяне затянутые парусиной телеги. Рынок зацвел капустами, кольрабями, свеклой, морковью; цветочницы расставляли высадки кровавых гераней, желтых бигоний,

пестроту цветов, рыбники раскричались, разложив на блестящем льду, в ящиках, под пестрыми навесами разную рыбу.

К мосту, в Нейштадт, мимо брюллевской террасы проходили бездельно два человека. Один в зеленой, лоденовой накидке, серебряных очках, с длинной, загнувшейся бородой, размахивал снятой, белой демократической шляпой, как человек неистовый. Другой невысокий, слабого сложенья, с горбатым носом и вывернутым подбородком, обросшим кудрявой бородкой, шел спокойно, изредка отбивая с дороги палкой камешки. Дрезденцы узнавали обоих королевских музыкантов, музикдиректора Августа Рекеля и капельмейстера королевской капеллы Вагнера.

— Если Германия даст растоптать свою свободу, как растоптали ее у славян в Праге, то право ж, Вагнер, не стоит уважать наш народ! Нужна готовность выступить с оружием в руках, — размахивал белой шляпой длинноволосый Рекель.

Вагнер отбил палкой камешек; на вдавленных, меж острым носом и острым подбородком губах выплыла улыбка. — Дело революции это — вдохновение и активность, так было в Вене, но венцы — особенные немцы, такой возможности у саксонцев нет. Что у нас? Лежащая коммунальная гвардия и стоящее королевское войско.

Они проходили мимо квадратно-серого зданья нейштадтских кавалерийских казарм; во дворе резко пел в утреннике генералмарш. Вагнер улыбнулся, проговорил:

— После «Лоэнгрина» молчу; перестал чувствовать музыку, слишком сейчас ее много вокруг. Вчера написал политическое стихотворение с призывом к войне против русской деспотии.

Рекель, проговорил задумчиво. — Я, Рихард, с музыкой давно кончил; «Фаринелли» забыта, — засмеялся, — я, прирожденный бунтарь, хотя, чтоб стать дрезденским Маратом, мне не хватит, наверное, хладнокровия и рассудочности.

Эту гористую зелень, голубую Эльбу на окраине Нейштадта оба видели каждый день, но все ж приостановились, оглянувшись. Потом вошли в желтый, двухэтажный дом «Гостинницу трех лип», стоявшую в зелени сада. Навстречу поклонился лакей; оба поднимались по винтовой,

деревянной, скрипевшей лестнице. И в крайнюю комнату Рекель постучал.

— Войдите! — крикнул бас изнутри.

Раскинувшись импозантно на диване, обтянутом пестрозеленой материей, в руке с цигареткой лежал Бакунин.

— Славно, Август, что зашел, — поднялся Бакунин, рассматривая незнакомого.

— Познакомьтесь, капельмейстер Вагнер.

— Очень приятно, как же, хорошо знаю вашу «Риенци», — смотрел на Вагнера пристальносмеющимися, темноголубыми глазами Бакунин.

У дивана сидели трое; плохой скрипач королевского оркестра, галициец поляк Геймбергер, здороваясь с композитором смутился; не называя имен поздоровались другие, по выправке военные, по звенящему акценту — поляки. Бакунин — во фраке, затягивался цигареткой, продолжая с поляками разговор.

— ...я и говорю, что мы славяне должны дать толчек европейскому движенью, без нас Европа не увидит революции, а потому смелей вперед, с нами Бог, а кто против нас, бесы и черти? Но мы их не боимся, — раскатисто захохотал. Он был в хорошем расположении духа, в воле, в силе.

— Так, мы пойдем, Бакунин, — проговорил один из военных, с висячими, темными усами, Гельтман.

Бакунин, поднявшись, смеясь сказал:

— Стало быть ни пуху, ни пера.

Когда Бакунин вышел с гостями, Рекель легкой полуулыбкой глянул на Вагнера, как бы спрашивая: «ну, как? понравился?»

Раздались обратные, тяжелые шаги Бакунина по лестнице, словно сейчас он обрушит дряхлые ступени. Бакунин напевал из «Гугенотов»: — «В правую руку взял он саблю...» — распахнул дверь широко и весело.

Полулежа на диване, Бакунин рассматривал Вагнера чересчур пристально, пожалуй даже невежливо, не сводя с него пытливых, светлых глаз.

— Скоро у вас, герр Вагнер, будет тема для большой, патетической музыки, оперы, симфонии, — сказал, смеясь, — разрушенье старого мира во имя нового и неведомого, да, да, это не загорами. Нас не пугает выступленье русских войск. Россия, это колосс на глиняных ногах, чего в

Европе не подозревают. Это обнаружится именно в войнах, когда войска заразятся духом разрушенья, бродящим на Западе. Вам вероятно странно, это я коренной русский открыто желаю, чтобы Россия во всякой войне, которую ни предпримет, терпела бы одни поражения?! Но этого требуют интересы революции и освобожденья всех европейских народов. В удобный момент мы, славяне, первыми зажжем пожар, который обновит мир, уничтожив всё старье изжившей себя цивилизации. Вы удивлены? А может быть негодуете подобному скифству? — захохотал весело Бакунин, обращаясь к Вагнеру даже как бы с вызовом. — Да, да, я вот скиф и бродяга по вашей Европе говорю вам, что несмотря на кажущиеся силы реакции, дни Европы сочтены и она рухнет под взрывами революции. Первые удары будут славянские, а за ними вспыхнет все, любящее и ценящее страсть разрушенья. Европа сгорит до тла и даже скорей чем об этом думают.

Вагнером овладело смешенье чувств; он сидел, откинувшись в кресле, с легкой улыбкой на узких, вдавленных губах. Может быть обаянье было внешне: в черном фраке, силач, с вьющимися по плечи темными кудрями, с голубыми глазами, страшно свободный, резкий в движеньях, с откинутой рукой, длинными, красивыми пальцами зажавшей цигаретку, смешанный из простоты и барства, Бакунин нравился Вагнеру. Что-то неприятное было, пожалуй, в теме, но чувство очарованья все ж было и странно-музыкальное пронеслось в облике русского, «сила огня», подумал Вагнер и, щурясь от света, прикрывая больные глаза бледной рукой, проговорил:

— Но разве вы, герр Бакунин, считаете *всю* европейскую цивилизацию сплошным несчастьем человечества? Мне неясно, какова в вашей концепции грядущего разрушенья мира судьба хотя бы искусства, этого хрупкого и драгоценнейшего из достижений человечества? Или вы, человек большой философской культуры, обрекаете и искусство на гибель во имя неизвестного нового?

— Ну да, сегодняшнее искусство, — проговорил Бакунин, отбрасывая докуренную цигаретку, — должно погибнуть также как судебные бумаги, полицейские архивы, купчие крепости. Народу не нужны эти мертвые и подтасованные фикции, имеющие единственной целью провести в народ систему ложных представлений, заражающих его

официально-общественным ядом, чтоб отвлекать от единственно-полезного и спасительного ему дела — бунта! Если у нового человечества будет потребность в искусстве, оно родит новое, свое искусство.

— Не слишком ли крупный вексель будущему и неизвестному человечеству? — проговорил, улыбнувшись чуть снисходительно, Вагнер. — Вы исключаете всякую преемственность и культурную традицию? Иль так уверены, что будущее человечество оплатит любой вексель?

— Оплатит, оплатит, герр Вагнер, не беспокойтесь, — захохотал Бакунин, поглаживая волосы большой, белой рукой. — Впрочем, я об этом мало думаю, это уж не моя тема. Моя тема — революция, которая переворотила бы все вверх дном. Запад сам не в силах и не способен дать эту новую, еще неслыханную песнь разрушенья, Запад погряз в так называемой цивилизации, эту необходимую человечеству революцию начнем мы, славяне, и в первую очередь, конечно, Россия. В России начнут ее связанные с толщей народа, подлинные революционеры, а подлинные наши революционеры, вы о них даже не слыхали, — улыбнулся Бакунин, — это Степан Разин, Емельян Пугачев, наши русские разбойники, да, да, милостивый государь, не удивляйтесь, русский разбойник это вовсе не криминальный тип лондонских переулков, у нас в России, не прерываясь со времен московского государства живет русский разбой, в котором все предание обид, унижений, все ожесточенье народа против поработившей его власти. Это настоящая, подлинная революция, без книжной риторики, непримиримая, неутомимая и неукротимая на деле. Этого не знают в Европе, но от Петербурга до Нерчинска идет непрерывное течение разбойничьего подземного потока. Оно легко охватит миллионы крестьян, ибо во всех нас, славянах, с давних пор — не то детская, не то демонская страсть и любовь к огню. В России живет один нераздельный, крепко связанный мир русской революции. И не думайте, что эта революция далека, о, она близка и беспощадна! Именно она охватит пожаром Россию и перекинется на Запад, произведя наконец настоящую, подлинную революцию, которой европейские народы, отравленные и порабощенные цивилизацией, не знают. Да, да, господа, наша цель — полное разрушенье всех стесняющих уз и наша

борьба холодная и ожесточенная. Лишь после миллионов жертв мы придем к убеждению, что насильственный переворот и борьба на жизнь и смерть между наслаждающимися и угнетенными обновит искаженный мир. Что будет, герр Вагнер, с искусством? Современное искусство погибнет! Но мы об этом не думаем, мы думаем только о том, как бы отдать все силы подготовке пожара, как бы разрушить все существующее сплеча, без разбора, с единым соображением «скорей и побольше». Яд, нож, петля! Революция освещает все во имя свое! Мы должны образовать ничего не щадящую грубую силу, безостановочно идущую по дороге разрушенья. Ведь гораздо человечней резать и душить десятки и сотни ненавистных людей, чем участвовать с этими людьми в систематических *законных* убийствах миллионов. Разумеется, было б дико надеяться и я думаю, что из нас никто не безумен и не надеется уцелеть в пожаре всеобщего развала мира. Ведь только стоит себе представить, что весь европейский мир с Парижем, Петербургом, Лондоном сложен в один костер! И можно ль думать, что люди, поджигающие этот костер, будут строить потом на его пепелище? Нет, конечно, нет, наше дело беспощадного, жестокого, неостанавливающегося ни перед чем разрушенья . . .

Увлекательная речь Бакунина казалась Вагнеру то отвратительной, то прекрасной; она была похожа на взрыв гремящего оркестра, на звуки с грохотом несущегося оползня. Бакунин то обращался к Рекелю, то к Вагнеру, словно приглашая, убеждая безоговорочно, даже приказывая сейчас же следовать за первым полком армии разрушенья, с которой Бакунин ринется в водоворот европейской, мировой, все низвергающей революции.

Весенний день за окном, ветер и смех каких-то игравших под окнами детей казались недоразуменьем в этой комнате. Бакунин не останавливался, зовя к борьбе, к красоте огня и пожара. Никто не заметил в этот день, как протянулись от дома тени тополей, легли сумерки. Геймбергер зажег, в цветочках, с пышным бумажным абажуром лампу. От света лампы Вагнер, ощущая резкую боль глаз, прикрыл глаза ладонью. В свете лампы, фигура Бакунина вырисовывалась еще размашистее.

— Раздадутся вопли страха и отчаянья! Обращать ли на это внимание? Нет! Мы должны оставаться глубоко

равнодушными ко всем этим завываньям и не входить ни в какие компромиссы с обреченными на гибель. Это назовут терроризмом, этому дадут громкую кличку! Пусть! Нам все равно. Не нам засыпать овраги и заравнивать выбоины, мы бросим сразу в будущее — чертов мост . . . вам мешает свет, герр Вагнер? — оборвал вдруг Бакунин.

— Болят глаза, ничего.

— Нет, я прикрою, — проговорил он, и, застив свет лампы широченной ладонью, продолжал: — . . . тряпичные литераторы будут испускать лирические стоны, но не обращать же нам вниманья на этих мартовских котов! От современной литературы, которая состоит из доносов, да лести, от литературы продающей себя, мы не должны ждать ничего кроме гадости и сплетен. Современный театр, это бесполезное учреждение, предназначенное для развлечения самой испорченной части населения, будет, конечно, уничтожен . . .

Бакунин говорил долго; только когда оборвал и лег на диван, Рекель проговорил:

— А я тебя уверяю, Михаил, если б ты знал замысел оперы Вагнера на сюжет Нибелунгов, ты б не был так беспардонен к искусству, как сегодня; ты не верь ему, Вагнер, что он так недорого ценит искусство, он понимает музыку, как настоящий знаток.

Бакунин лежа на диване, расхохотался.

— Что, музыкант, перепугался, не хочется погибать в мировом пожаре, на всеобщем костре? А? «Нибелунги»? Это нас не интересует, пусть герр Вагнер напишет лучше нам революционный марш, под который люди смелей пойдут на бой за разрушенье.

— Эээ, марш! Если б ты слыхал его первые наброски новой трагедии «Иисус из Назарета»?! Нет, мой друг, музыка Вагнера принадлежит не королевскому театру, а — человечеству!

— Ладно, ладно, не рекламируй друга! И пощади меня, Рекель, с «Иисусом Христом», — отмахивался, хохоча, Бакунин, — что касается Иисуса, — повернулся он к Вагнеру, — охотно желаю вам успеха, но только прошу, сделайте его, ради Бога, человеком слабым, безвольным и погибающим. Тема музыки тут дожна быть самая простая, варьируйте при композиции один текст. Пусть тенор поет,

— запел Бакунин, — Обезглавьте его! — Сопрано: — Повесьте его! — а бас: — Сожгите его! — хохотал заливисто на всю комнату.

— Приму к сведению.

— Ну вот и обиделись! Да я говорю ж вам, что я скиф, ничего не понимающий в музыке, ха-ха-ха! Хоть у меня даже, вон, и инструмент стоит, — смеялся Бакунин, — и Геймбергер говорит, что недурная машина.

Когда было не разобрать за окнами ветвей тополей, в комнате от трубок, цигареток стоял плотный дым, тогда бросили политику. Рекель вспоминал о дружбе своего отца, певца, с Бетховеном, о приключеньях в Англии; Бакунин опершись локтем о валик, полулежал на диване; курил и слушал.

— А, правда, Вагнер, — проговорил он в паузу, — сыграли бы что-нибудь?

— Инструмент неплохой, — тихо сказал, все время молчавший блондин в зеленых очках, Геймбергер.

Вагнер, походкой в противоположность тяжелому Бакунину, легкой, даже чуть танцующей, прошел вглубь комнаты, к роялю. Сел, бледный, слабый, поднял крышку; правая рука пробежала стремительным арпеджио.

Рекель опустил бородатую голову; Бакунин лежал на спине; похожий на белого котенка, Геймбергер сидел необычайно тихо. Вагнеровские пальцы пробегали по клавиатуре, словно ища, потом взметнулись. Вагнер заиграл отрывок из «Летучего голландца»; вместе с музыкой вскоре раздался небольшой голос; Вагнер напевал.

Поднявшись с дивана, когда Вагнер кончил, Бакунин пробормотал, идя ему навстречу:

— Вагнер, это божественно! — полутемный, громадный, во фраке, с вьющейся, черной копной волос, Бакунин стоял возбужденный. — Из-за всех моих дел я не слыхал музыки, ей-Богу, целую вечность! Играйте, играйте, Вагнер, пожалуйста!

2

Под легким, теплым дождем на дрезденских улицах распускались липы, тополя; скверно, собачьим запахом пахли зацветающие каштаны, в темноте казавшиеся осыпанными снегом. В сумерках на Пирнайскую площадь из Грунауерштрассе, торопясь, вышли двое; один с черно-

красно-золотой кокардой на шляпе, другой темный, громадный, не разобрать. Первый остановил извозчика на рыжей кобыле и, влезая в пролетку, проговорил: — Во Фридрихштадт, к Вейзерицкому мосту! — По улицам, дышавшим газовыми фонарями, пролетка тронулась, исчезнув в длинной полутемноте Острааллее. Дождь, раскатываясь по крышам, учащал; на Фридрихштрассе, у обнесенного решеткой темного сада извозчик остановился. Седоки вылезли, пошли в ворота, в глубину, где в темноте, в широком, низком доме жил оранжевый свет огня.

3

Комната была похожа на помещичью гостиную, с фотографиями, низкими диванами, кушетками, креслами; горели четыре канделябра; народу много; говорили мало, кого-то ждали.

Вагнер, бледный и рассеянный, сидел у рояля, наигрывая одной рукой. У Рекеля закинуты на лоб очки и неистовый музикдиректор кажется поэтому сейчас добродушным. Отстранив занавес, глядел в темноту окна ширококостный, низкий, грубоватый адвокат из Бауцена, Чирнер, крайнелевый саксонской палаты.

— Ищете наши звезды на небе, герр Чирнер, а? — засмеялся поразительно худой, белозубый офицер, в форме коммунальной гвардии.

— Наши еще не светятся, Цихлинский, — ответил Чирнер. У коренастого адвоката блеклое, скуластое лицо, голова вросла в плечи; во всем холодность и недоверчивость.

— Смотрите, герр фон Цихлинский, — медленно подходя к офицеру, улыбался бородатый доктор Гауснер, — как бы от наших предприятий не перевернулись в гробу ваши благородные предки.

Офицер спокоен, очень худ, засмеялся весело.

— Мои предки довольно плохо перешли в тот мир, так что за них не беспокойтесь, доктор, они могут меня встретить с распростертыми объятьями.

— Кто знает, — бормотнул Чирнер.

Черноглазый, густоволосый, юношей ушедший в Грецию и там получивший чин полковника греческой службы, Александр Клаус Гейнце сидел молчаливо, рядом с безличным герихтсдиректором из Рохлица Грунером, рассматри-

вавшим фотографии. В кресле читал свежий номер рекелевского «Фольксблатта» розовощекий кандидат теологии и редактор «Дрезденской газеты» Людвиг Виттих; возле него — адвокат Карл Бетхер, офицер коммунальной гвардии Маршаль фон Биберштейн.

— Бакунин опаздывает, — поднялся Рекель, подошел к окну, отдернул занавес. Все слышали, как рассыпается, силясь, расходясь, дождь.

— Темнота, — пробормотал Рекель, — все равно, как во время факельцуга, который сделали мне с разрешения полиции. — Остроте рассмеялись: знали, по выходе Рекеля из тюрьмы полиция потушила факелы у факельцуга в его честь. В это время раздался звонок.

— Наконец то,— бормотнул Рекель, взяв канделябр, быстро вышел в сени.

4

Кроме улыбнувшегося дружески Вагнера, Бакунин собравшихся почти не знал. Но вошел свободно, шумно, приветливо, как к хорошим знакомым.

— Посмотрим, кто не опоздает, когда начнется настоящее дело, — прохохотал на пороге с Рекелем.

Развязность, бесцеремонность этого огромного человека с непомерно громким голосом не понравились Гейнце, Грунеру, Чирнеру; с застывшей усталой гримасой Чирнер даже не поднялся с кресла. Рекель просил перейти в соседнюю, невидную с улицы комнату. Там, когда все расселись вокруг стола, Рекель в наступившую тишину заговорил:

— Присутствующие знают для чего мы собрались, я предоставляю слово Чирнеру.

Чирнер, опершись локтями о стол, так что маслаки широких плечей выдались и тяжелая голова вошла в плечи, заговорил ровно, голосом, привыкшим к выступлениям.

— Всем известно, что мы стоим перед роспуском палаты. Реакция, руководимая Бейстом и Рабенхорстом, это уже решила; мы должны встретить удар ответным ударом. Правительство потело кровью и в то же время опасалось предпринять что-нибудь против народных представителей, но сейчас точные сведения говорят, что фон Бейст идет ва банк; они считают, что революция устала, а заговор немецких князей созрел. Министерство Брауна растоптано

впрах, теперешнее министерство Гельда не лучше; этот выкидыш умрет ни сегодня — завтра, и на его место встанет реакция. Его, как это ни странно, убьем не мы, а именем короля барон фон Бейст. Он бросит открытый вызов народу и если мы не поднимем народ на борьбу, то можетбыть не достигнем ничего уж в столетье. Фон Бейст вошел в согласие с прусским двором и пруссаки в случае чего окажут другососедскую помощь, приведя в порядок Саксонию. Но фон Бейст напрасно думает, у нас есть силы, которые мы противопоставим даже пруссакам. Наша коммунальная гвардия, «Отечественные союзы», «Гимнастические союзы» мы двинем их в бой с войсками реакции и Дрезден должен стать вождем немецкой борьбы за требования народа.

Еще больше вобрав тяжелую голову в плечи, Чирнер замолчал. Вагнер, подперев тонкой рукой острый подбородок, обвел собравшихся прозрачными глазами. Отодвинувшись от стола, закинул ногу на ногу Бакунин. Закинутые ноги казались громадными. Бакунин дымил цигареткой, громадный и взволнованный. Так прослушал он энтузиастическую речь Рекеля о подъеме Дрездена и всей Саксонии на бой. Это было «чересчур лирично». Взгляд Бакунина перехватил Вагнер, улыбнулся вдавленными губами. Говорили Бетхер, Грунер, Гауснер, опоздавший глава «Отечественного союза» Минквиц, Бакунин слушал, беспрестанно поднося ко рту цигаретку. «Ах, эти адвокаты, герихтсдиректоры, полковники, судьи, редактора, это даже не композиторы», думал Бакунин. Седьмым заговорил он.

— Позвольте беглецу, отдавшему жизнь всецело делу свободы, сказать в кратких чертах о пути, которого должна придерживаться демократия, если она хочет не только славно умереть, но и победить. — Бакунин говорил с мягким русским акцентом, ломанно, иногда неправильно.

Бакунин встал. Всем, низко сидевшим, он казался нечеловечески громадным и неудобным. Бакунин был в припадке красноречья. Плыл дым цигареток, трубок, сигар. Бакунин заклинал разжечь, распалить страсти народа, требовал клятвы от всех умереть в восстаньи.

После него, голосом привыкшим к команде, заговорил Гейнце о надежде, что коммунальная гвардия встанет на сторону народа. Цихлинский говорил о желаньи несколь-

ких офицеров биться за конституцию. Виттих о помощи коммунальных гвардейцев из провинции. И снова в дыму, прервав возбужденный разговор с Вагнером, заговорил Бакунин.

— Господа! Если сведения Чирнера правильны, а в этом сомненья нет, стало быть мы имеем перед собой врага в лице нескольких тысяч саксонских войск и ежеминутно готовых войти пруссаков. Этот враг силен, дисциплинирован и организован. Что мы противопоставим ему? Незначительную силу коммунальной гвардии и необученную массу работников? Цихлинский говорит о нескольких офицерах, это прекрасно, но если мы хотим успеха восстанья, его должны вести военные, знающие технику дела, могущие оказать организованное прочное сопротивленье. Сейчат в Дрездене много польских офицеров, это опытные вожди уличных восстаний и бесстрашные бойцы...

— Ни за что! — крикнул Гейнце ,встав в рост, — вы воображаете, что саксонцы, защищая свою свободу, должны сражаться под командой поляков?!

Его прервал крик сплетшихся голосов. — Нет, этого нельзя, нельзя, ты не понимаешь обстановки, — кричал, успокаивая Бакунина, Рекель, отводя в сторону.

Дрезден предрассветно серел; уходили тени с Эльбы. Рекель, с канделябром, шел через гостиную, провожая гостей. В передней, сгрудившись, разбирали одежду.

— Когда ты, Мишель, вылезешь из своего фрака?

— Рад бы, да не во что! И так боюсь попасться на глаза старым кредиторам, ха-ха-ха, кстати ссуди-ка, брат, талер, говорят, твой «Фольксблат» теперь здорово идет.

Поставив канделябр на тумбу, Рекель вынул мягкий кошелек, развязывая, полез за монетой.

— Завтра Вагнер дирижирует девятой симфонией, если не боишься кредиторов иль полиции, пойдем.

— Пожалуй, ради «Freude, schöner Götterfunken».

Рассветало тихо, безветренно; в сыроватом от прошедшего дождя воздухе пахло тополями, сыростью; соседняя католическая церковь светлым контуром обозначилась в небе; проводив гостей, Рекель, идя по двору, слышал их далеко замирающие шаги.

5

Опера Флотова «Марта» в этот сезон шла без успеха. Утомленные однообразностью ее партитуры, отсутствием ясных мелодий, королевские музыканты в Вербное воскресенье давали девятую симфонию Бетховена. Дирижировал не старик Рейсигер, а молодой Вагнер. И на зданьи театра висели аншлаги: «Билеты проданы».

У первой скрипки оркестра никогда не было столь благородного звука; никогда так пламенно не вступали виолончели и фаготы, наполняющие зал печалью; после отшумевшей бури скрипок никогда не врывались так мощно контрабасы и гром литавр; никогда не подымалась такой страстной бурей девятая симфония под словно отрывающимися руками капельмейстера Вагнера. Краска залила бледное лицо; взгляд странен и дик, уже потушив мелькнувшую улыбку полуоткрытого рта, он откидывается назад, брови поднялись, на щеках игра мускулов, глаза блестят, глубокая, внутренняя скорбь разрешается в охватывающее наслаждение.

Из золотой королевской ложи, встав, аплодирует король. Ладонь о ладонь бьются руки блистающего моноклем барона фон Бейста, тучного военного министра Рабенхорста, бравых генералов фон Шульца и фон Ширндинга.

За кулисами, отирая выпукло-округлый лоб, Вагнер стоял окруженный друзьями.

— Вагнер, Вагнер, — бормотал Бакунин, пожимая его руку, — да, если б при ожидаемом пожаре мира предстояло погибнуть всей музыке, мы должны б с опасностью для жизни соединиться, чтоб отстоять эту симфонию!

Вагнер слабо улыбался вдавленными губами, в нем жила еще девятая симфония. Сказал тихо:

— Я доволен исполнением, оркестр держал себя превосходно.

6

Стон набата дрезденских церквей начался с Фрауенкирхе, но взвился над прекрасной столицей Саксонии неистовой фугой, гудом, звоном всех набатов. Дрезденцы выбегали, не понимая: с чего бьет непрекращающийся набат, словно туча плача колоколов налетела, разразилась на колокольнях. Не пожар ли, не горит ли город? Суета и

страх охватывали обывателей. Приказ короля об отставке министерства Гельда? Но ушло ж министерство Брауна? Роспуск палаты? Но королем обещаны новые выборы. Почему бьет набат? И где раскатываются барабаны?

В этот жар кружат под солнцем в вышине безоблачного неба над Дрезденом ястреба, голубая Эльба трепещет парусами лодок. Лавочники, ремесленники, студенты, обыватели, торопясь, бегут ко дворцу, мешаясь с работниками зеркальной, фарфоровой фабрик, с печатниками, случайными крестьянами. В форму одеваются коммунальные гвардейцы, потому что звонят на Крейцтурм и играет, поет генерал-марш на Альт-Маркт. На Дворцовой площади уж гудят батальоны коммунальной гвардии. Перед строем волнуется командир, купец Наполеон Ленц, окруженный батальонными командирами адвокатами Беме и фон Бранденштейном. Толпятся возбужденно депутаты распущенной камеры; прибежал встревоженный глава «Отечественного союза» Минквиц. Но саксонские стрелки преградили ружьями вход и на конях перед войсками губернатор, генерал фон Шульц и комендант дворца полковник фон Фредерици.

Заливаются толпой Театральная, Дворцовая площади, Ней-Маркт, Юденхоф; уж текут к цейхгаузу по Рампишегассе; слева, с Альт-Маркт бегут через Шлоссгассе. Сквозь бушующие шляпами, непокрытыми головами, цилиндрами толпы горожан, к Дворцовой площади протискивается депутация к королю: плотный, лысый заместитель бургомистра Пфотенхауер и городские советники. Толпа ревет: — Где Бейст?! Министры не выходят к народу!! Разворочить арсенал! Гейбнера! Депутата Гейбнера! — требуют любимого демократа из Фрейберга. Как волнующееся море, поверхность толпы, стиснутой голова к голове, беспрестанно движется из стороны в сторону и каждое движение ее перекатывается до отдаленнейших концов. Бьет набат над старым Дрезденом в жарком воздухе. Из Нейштадских казарм, пришпоривая коней, к Эльбе проскакала кавалерия: губернатор приказал занять мост. Полковник фон Фредерици пехотой занял ворота дворца. Залезши на цоколь, орет на Дворцовой площади депутат Чирнер, требуя чтоб коммунальная гвардия шла парадом в честь конституции. — Против войска не поведем!! — кричит ему Беме, командир 1-го батальона.

А еще вчера гуляли дрезденцы по брюллевской террасе, по Гроссер Гартен; никто не знал, что на утро волнение охватит город. За ночь на заборах запестрели красно-черные плакаты: — На помощь Вене! — Да здравствует красная республика! — Долой монархию! — На фонарь Бейста! — Кричат со стен прокламации доктора Гауснера, главы «Отечественного союза» Минквица, вождя «Рабочего союза» Фридриха Грилле; разбрасывают мальчишки в толпе листовку — «Огонь!» В сбегающихся в центр, ко дворцу толпах, качающихся, мнущихся на площадях, видны особые, калабрийские шляпы с черно-красно-золотыми лентами, видно, бежавшие из Вены. Нет места на площади, напирают стеной, раздаются крики: — Король вюртембергский расстрелян! — В Берлине восстанье! И шумят, бегут: женщины с непоспевающими детьми, студенты, рабочие, члены «Гимнастических союзов»; толпа кричит — Ура! — Минквиц и Захариас ведут колонны с черно-красно-золотым знаменем с надписью «Свобода»!

По Острааллее, по мостовой, в толпах народа торопился Бакунин, без шляпы, во фраке, дымя сигарой. Можно поклясться, вспоминал Париж, Карузельский выстрел, в обгоняющих саксонцах искал французов и вырывающуюся стихию бунта, которую раздуть и она станет святыней.

Из Аугустусштрассе, сквозь толпы работников зеркальной фабрики, на площадь, протискивался Вагнер в светло-синем сюртуке, в берете, светлых панталонах. Вагнеру казалась площадь озаренной темно-желтым, почти коричневым светом, словно наступило затменье солнца, как когда-то в Магдебурге. Прорываясь локтями сквозь толпу, Вагнер чувствовал веселое, острое возбужденье. У Юденхоф, осколком мелькнуло в сознании описание Гёте канонады при Вальми. «Тоже самое», бормотнул Вагнер, чувствуя, как его все сильней охватывает необыкновенная веселость. Дрезден, залитые площади, словно изумительная постановка, начало гигантского представленья, под отчаянные, к небу несущиеся фуги набата. На ступенях дома прижали артистку Шредер-Девриен, развились волосы, она кричит с крыльца. Вагнер разобрал: возмущается стрельбой по народу в Берлине, заклинает от несчастья! Ее осыпали неприличным юмором рабочие, в широкополых мятых шляпах.

— Депутация к королю!

Бакунин увидал: в блестящих на солнце цилиндрах, глухих сюртуках, белых перчатках, высоко подперших шею воротниках, пробивается депутация. За первой, вторая, третья, даже депутация правого «Немецкого союза» идет к королю просить не вызывать несчастий в любимом отечестве. Работники осыпают депутатов смехом, но депутаты движутся ко дворцу, охраняемому солдатами полковника фон Фредерици, выкатившего на Дворцовую площадь пушки.

Вагнер втиснулся на крыльцо: женщины в белых платьях, у одной красная роза в волосах, испуганно держит мальчика. Крыльцо густо окружили рабочие, меж них Вагнер увидал нескольких музыкантов своего оркестра.

Запыхавшийся Ленц, командир коммунальной гвардии, потея протискивается с двумя гвардейцами к Шлоссгассе. — Долой Ленца! — кричит толпа. С колокольни св. Анны ударил набат, соединяясь в мажоре с летящими стонами над городом. Ленц толст, душно, черт побери. На Ленца наступают депутаты распущенной палаты. Чирнера опять подняли на руках, Чирнер орет: — Долой Ленца! Да здравствует коммунальная гвардия!

Разрывает воздух несущийся с Альт-Маркт генерал-марш. Но Наполеон Ленц, владелец дома дамских нарядов и придворный поставщик, не слушает Чирнера, не разрешает гвардии идти вместе с черныю.

— Король хочет бежать! — шумит толпа. У дворцовых ворот рабочие и студенты схватили королевских конюхов с четырьмя бьющимися конями. Народные толпы все ожесточенней окружают дворец, столпились возле гостиницы «Город Рим» и «Hôtel de Saxe». У Цейхгаузпляц особенно силен напор, резки, угрожающи выкрики и лица; тут напирают гимнастические союзы, подмастерья, молодежь, бушуют, колыхаясь, у цейхгауза. Кто, чего ждет в солнечном Дрездене? Чего хотят толпы, окружив дворец? За решеткой сада, перед цейхгаузом, прохаживается взволнованно блондин чуть косящий глазом, лейтенант Круг фон Нидда, не снимая руки с эфеса сабли, то выйдет, взглянет на толпу, уйдет, волнуется лейтенант, не слышит от шума толпы собственных шагов. Охраняют цейхгауз, под командой полковника Дитриха, две роты пехоты, да 70 артиллеристов. Но треск, крик, лом. И, прыгнув с лестницы, выбе-

жал чуть косящий глазом лейтенант Круг фон Нидда. Деревянная ограда рухнула, повалившись. Неуслышанный толпой раздался крик лейтенанта и вместе с криком, из цейхгауза ударили смешавшиеся выстрелы в густоте жаркого дня. За ружьями грохнула картечь. И на запруженной тысячами шумящих людей площади, стало вдруг необычайно тихо. Но вот раздались стоны и все закипело, заварилось котлом: толпы гимнастов, студентов, рабочих — ринулись под выстрелы, часть отхлынула назад, давя падающих и бегущих. Побежали по площади, по Зальцгассе, кричат: — Измена! Стреляют в безоружный народ! Нас предали! На баррикады! — Толпа растекается, но, разве знает куда бежать? И странно, что на только что переполненной площади — пустота. За поваленной решеткой видны солдаты, полковник Дитрих, двое лейтенантов; перед решеткой без движенья лежат штатские, страшно раскинув руки. Раненый пулей в живот умирает в цейхгаузе блондин с чуть косящим глазом лейтенант Круг фон Нидда; и там же застрелился в припадке неврастении лейтенант Криц.

Вагнера обогнали; четверо тащили старика рабочего с закатившимися глазами, как из стекла. Собственно нести его незачем, надо положить, оставить, куда несут его незнакомые люди? Кругом бегут; побежал и Вагнер, потому что бежит вся густая толпа. — К Старому ратгаузу! Пусть дают оружие! На баррикады! — На углу Бадергассе торговка, побагровев, стыдит мужчину, кричит — пфуй! пфуй! В Шлоссгассе громят придворный магазин дамских нарядов Ленца, летят из окон корсеты, манекены. Из Шефельгассе, разрывая противоположным движеньем толпу, движется колонна вооруженных. В светлых шляпах с лентами, кокардами, чересчур возбуждены, с криком машут ружьями, палками, железными штангами. На тротуаре остановился горбун, смеясь, потирая руки. «Как гетевский Фанзен в «Эгмонте», пролетело у Вагнера.

Возле Старого ратгауза бушевала буря; толпы, залившие площадь, кричат — Оружия! — Двери ратгауза, куда всегда степенно ходили городские советники, не раскрыты, а словно разорваны настежь. Балкон заполнен, с него охрипше кричит в толпу, взлохмаченный, без шляпы, Чирнер:

— ...или полная победа или гибель в бою за наше дело!

На балконе депутаты: Кехли, полковник Гейнце, тайный советник Тодт, доктор Гауснер, Минквиц, Грунер.

На площади, в толпе, Вагнер увидал прислонившегося к фонарю Бакунина во фраке, с сигарой.

— Ну что? — протиснувшись, проговорил Вагнер, — вы-то во всяком случае, должны быть довольны!

— Немецкий народ самый беспомощный, какого я знаю, — словно нехотя, ответил Бакунин, — разве вы не видите кругом полную беспомощность в то время, как должна быть проявлена вся сила и ненависть? Первым шагом всякого восстанья должно быть уничтоженье правительственных зданий, а здесь об этом даже не думают! — Бакунин затянулся сигарой. — Такие революции с первой минуты обречены на пораженье, у революции должна быть смелость отчаянья и холодно выставленная цель, а тут я стою в детской комнате, где наказанные дети обдумывают бунт.

— И это вы?! Бакунин?! Это говорите вы, оберфейерверкер революций и скиф в Европе!? — Вагнер был почти возмущен.

Сквозь набат с Крейцтурм раздавались барабаны, на площадь с Крейцгассе входила коммунальная гвардия; но впереди нее не Беме, не фон Бранденштейн, не Ленц, а неизвестный, рыжий малый, в белой шляпе, с красным галстуком во всю шею. Гвардия шумно, пестро встала перед ратгаузом, командиры пошли к Чирнеру за распоряжениями. К Бакунину и Вагнеру подошел взволнованный придворный архитектор Семпер, в форме коммунального гвардейца и в шляпе знаменосца. Сняв шляпу, профессор, отирая пот со лба, в руке с ружьем, заговорил возбужденно, обращаясь не то к Вагнеру, не то к незнакомому Бакунину.

— На Вильдсруфергассе, у ресторана Энгельса, на Брудергассе, на Постпляц строят баррикады, но помилуйте! — сквозь возбужденье захохотал Семпер, — это ж игрушки, пустая трата времени! Отсутствуют примитивные знания постройки! Такие баррикады не окажут никакого сопротивления! — и знаменитый архитектор замахал руками. Бакунин засмеялся.

— Милый Семпер, — проговорил Вагнер, — в чем же дело? Ваша художественно-артистическая натура в соединении с добросовестностью, да идемте в ратгауз, я познакомлю вас с Чирнером, они будут в восторге, если вы возьметесь за постройку баррикад!

По лестнице ратгауза, им навстречу, разномастные, чем попало вооруженные люди тащили ящики с свинцом, мешки с порохом, четверо рабочих волокли длинную железную штангу; такую ж пилили у ратгауза, готовя куски железа вместо картечи для пушек. Семпер, взяв под руку Вагнера, тихо говорил:

— Часть гвардии, где я, насквозь пропитана крайне демократическим духом, вы понимаете, Вагнер, что мне все-таки, как королевскому чиновнику неудобно.

Вагнер хохотал, проталкиваясь, — Семпер! Да о ваших баррикадах будут писать в истории, как о шедеврах Микель Анджело! Что вы! Маршаль! — закричал Вагнер, обгонявшему их по лестнице офицеру.

— Познакомься.

— Мы знакомы.

— Да, постой, — схватил его Вагнер, — профессор говорит, что баррикады на Вильдсруфергассе никуда не годятся, а он построит вам настоящие!

— Идемте, идемте за мной, — и Маршаль фон Биберштейн, схватив Семпера за локоть, побежал с ним, расталкивая всех, наверх.

Главная зала ратгауза, выходившая окнами на Альт-Маркт, набита людьми; шумели депутаты; многие стояли, словно не понимания зачем они здесь; в углу толпились возмущенные члены магистрата во главе с полнотелым заместителем бургомистра Пфотенхауером. Вспотевший, растрепанный, без галстука, без воротника Чирнер, с злым лицом, кричал в толпу:

— За Гейбнером послано! послано! Да успокойтесь, к вечеру приедет! Но надо сейчас же выбрать «Комитет общественной безопасности!»

— Сколько убитых? Двадцать?!

Бакунина в зале окружили офицеры-поляки с представителями польской централизации, Гельтманом и Крыжановским во главе. Бакунин говорил с ними по-русски, маша рукой; польские офицеры перебивали. В комнату совещаний, двинулись депутаты; оттуда выбежал Цихлинский, закричал:

— Бакунин! зовут!

— Мы будем ждать тебя в «Café Français», — беря за руку Бакунина, проговорил Гельтман.

— Хорошо, я буду настаивать! — по-русски ответил Бакунин и скрылся за дверью.

В боевой форме, с ружьем за плечом, рыжеволосая художница Паулина Вундерлих, окруженная тремя девицами, одетыми в форму коммунальных гвардейцев, взобравшись на подоконник, говорила в зале взволнованную речь о свободе...

7

Когда заголубела и рассвела Эльба, Вагнер, заснувши час назад, проснулся: набат дрезденских колоколен не прекращался. Минна, жена, не понимала оживленья мужа; он торопливо прошел в рабочую комнату, ходил там, напевая, приостанавливался, отбивая такт. Наконец в комнате Вагнера все стихло, он сел к столу дописывать вариант «Смерти Зигфрида». В воображении Вагнера металась богатырская фигура Бакунина.

Словно землетрясение за ночь раскачало мостовые Дрездена, вырвало камни, гранитные плиты тротуаров, бесчисленные руки растащили их. Брюдергассе, Шлоссгассе, Вильдсруфергассе, Брейтгассе, сто дрезденских улиц и переулков пересеклось баррикадами, завалясь мешками, почтовыми каретами, дрожками, тачками, камнями, плитами, мебелью. Стены угловых домов пробиты; дома заняты поющими марсельезу мятежниками.

8

На Альт-Маркт трудно пробиться; это парижская площадь: ружья, крики, кокарды на шляпах, знамена, ленты, марсельеза, смех, красные галстуки. С Крейцтурм несутся барабанные сигналы сбора коммунальной гвардии. А в зале совещаний, где приходы-расходы вели городские советники, в креслах — охрипший Чирнер, Грунер, Минквиц, Гейнце и тут же, в отчаяньи закрыв лицо обеими руками, умеренный депутат Карл Тодт. Кричат — Бакунин, Цихлинский, Маршаль, наборщик Борн, секретарь почтового управления Мартин; в стороне, представители магистрата с Пфотенхауером во главе. Чирнер кричит им, держа сам себя за охрипшее горло: — «Комитет общественной безопасности» назначает полковника Гейнце командующим всеми войсками!

От Цвингера — треск ружей; пошли в бой без приказаний командующего. Бакунин, с растерзанной манишкой,

без воротника, во фраке, раздраженно перебил охрипшего Чирнера.

— Если будете болтать также, как в вашей камере, послезавтра вас повесят на этой же площади!

— Так что ж вы предлагаете?

— Прежде всего отдайте общее командование в более твердые руки! Люди уже умирают, все идет бессмысленно, без плана, неразбериха вселяет в сражающихся панику. Нет ни одной путно построенной баррикады, кроме Семперовых! Прикажите Семперу руководить постройкой всех баррикад и ведите наступление на дворец всеми силами!

— Я не военный, не главнокомандующий! Кроме того, мы ждем Гейбнера!

— Гейбнера! — горько расхохотался Бакунин, — какое же вы имели право вызвать людей на уличный бой, когда у вас нет смелости без какого-то Гейбнера! Опытные люди, знающие военное дело хотят отдать вам свои знания и жизни, а вы их отталкиваете потому, что они не подданные саксонского короля! Сражающиеся на баррикадах не знают ни эллинов, ни иудеев!

В окно с площади врывалась марсельеза; ветер рвал желтую занавесь; марсельеза близилась; на площадь входили колонны рабочих, окружив груженые провиантом телеги.

9

Отто Гейбнера знала вся Саксония, как честного демократа и основателя гимнастических союзов; мечтательный, с росшей из под шеи, золотистой бородой, увеличивавшей впечатление детскости, если б Гейбнер был сейчас в Дрездене, бросился б к королю умолять не доводить страну до кровавой бойни; а если б король не послушал Гейбнера, Гейбнер умер бы от солдатских пуль.

Но жена, Цецилия, рожала. Гейбнер сидел у ее постели. Гейбнер любил жену, семью, друзей, воскресные прогулки в окрестностях горного родного Фрейберга. Цецилия лежала, словно освещенная внутренним светом. Ее побледневшую руку Гейбнер держал в своей, тихо называя жену «белой голубкой» и говоря о божественности их любви. Цецилия улыбалась мучительно и светло.

К серому дому, окруженному палисадником, где распустились тюльпаны и зацветала черемуха, подъехали

дрожки. Плотный, запыленный человек несколько раз дергал звонок.

В фигуре Гейбнера жила легкость, спортивность, несмотря на неправильно двигавшуюся, поврежденную левую руку. Ясные глаза и необычайная спокойность лица были таковы, что с Гейбнером даже честным людям становилось не по себе от этой его ясности.

Гейбнер знал, что в столице неладно, но роспуск палаты? отставка министерства? огонь по народу? жертвы? прусская помощь? .. Под дагеротипом деда, саксонского священника, комкая письмо, Гейбнер проговорил:

— Если я звал народ на борьбу за демократию, я считаю бесчестным уклониться в тот момент, когда народ доведен до отчаянья.

Гейбнер простился с посланным. Тихо пошел к спальной, бесшумно, осторожно открыл дверь. Цецилия лежала утомленная схватками. Гейбнер нежно проговорил:

— Цили, голубка моя . . .

10

— Гейбнер приехал, Гейбнер! — кричали на Альт-Маркт толпящиеся вооруженные, грубыми голосами. Гейбнер снял широкополую шляпу с золотистых волос, улыбался, приветствуя трясших ружьями, косами, штангами, вилами, топорами и, входя в двери ратгауза, подумал: «не дрезденцы, из предместий». Торопливо поднимаясь по лестнице меж тащивших оружие людей, помахивая правой рукой, левая была без движенья, Гейбнер думал, «такого Дрездена не ожидал, это почти катастрофа». В зале Гейбнер шагал через спящие, застлавшие пол тела; первым увидел его Цихлинский.

— Наконец-то, Гейбнер! — жал его руку двумя руками этот худой, белозубый офицер, приветствуя вождя саксонской демократии.

— Кто здесь из депутатов? — спросил Гейбнер.

— Чирнер и Тодт.

— Только? — удивился. — А другие?

Цихлинский развел руками. — Еще Грунер здесь.

Посреди комнаты совещаний Гейбнер стоял озабоченный, взволнованный. Таким увидал его Бакунин. «Это, кажется, лучше Тодта и Чирнера», подумал, здороваясь с Гейбнером.

11

Прусский гренадерский полк имени императора Александра, комплектованный однолицыми, похожими на телят, бранденбурцами, одетыми ладно, накормленными до отвала, под командой полковника графа фон Вальдерзее спешился у станции Бургсдорф и маршировал под флейты и барабаны в тумане, к Дрездену. Полковник граф фон Вальдерзее впереди полка ехал на гнедой кобыле, помахивавшей стриженным хвостом. Ветер дул с юга, с Дрездена, в лицо. Гренадеры видели уж погасавшие в туманах огни предместий Нейштадта. Вальдерзее позевывал, поднося руку в перчатке к усатому красивому рту.

12

На рассвете король Фридрих-Август, вместе с королевой, стоя на коленях, молился в придворной капелле; свита, тоже на коленях, окружала короля. Вошел высокий барон фон Бейст, тихо доложил королю, что войска готовы.

Рассветным бивуаком разбились на замковом, стиля французского ренессанса, дворе солдаты саксонского короля. За ночь отбили атаки на Цвингер и арсенал; бои расстраивают дисциплину; саксонские стрелки на дворе стояли нестройной, шумящей толпой, перемешавшись с офицерами. Многие еще не вытрезвились от пива королевских погребов. В тумане двора, у башен с косыми окнами, пылали дымным огнем непотушенные факелы. Барабан ударил подъем; стали разбирать ружья; перед строем встал полковник фон Фредерици и наступила тишина.

Раздался шум идущих из дворца многих ног; полетела по двору команда; окруженный министрами, генералами, неровно, быстро, махая толстыми руками вышел, закутанный в синий плащ, Фридрих Август и, выждав паузу, голосом полным волненья, закричал:

— Солдаты! Мои граждане оставили меня! Призрак республики беснуется в городе! Вы одни являетесь моей защитой! В рядах саксонских солдат нет предателей короля и отечества! Солдаты, я доверяю вам! Солдаты, могу ли я полагаться на вас?!

Замковый двор ожил; понеслось тысечеротое: — Да здравствует король Фридрих Август! Хох! Хох! — расстроилось каре, перемешался строй, превратясь в толпу

приветствующую короля. Из замковых погребов дворцовая прислуга катила по каменным плитам двора бочки вина и пива; кипела весельем, хохотом крепкая солдатская толпа. Быстро, неровно, маша толстыми руками, неверно ставя ногу на каблук, удалялась во дворец полная фигура в синем плаще. У набережной Эльбы, под охраной роты капитана фон Бюнау, ждал белый пароход, чтоб спасать короля, увозить в скалистую крепость Кенигштейн; через Зеленые ворота, в тумане вышел к Эльбе король.

13

На Дрезденом поднималась заря. Полковник граф фон Вальдерзее был истый пруссак; Дрездена не любил за кривизну, за изгибы, полукруги, отсутствие прямолинейности. Военное заседание шло в Нейштадте, в зданьи гауптвахты.

Старик генерал фон Ширндинг, командующий войсками короля, сидел рядом с полковником и его помощником майором фон Редерном. Седой Ширндинг знавал иные времена, делал марш с Наполеоном в Россию, на его глазах под Зальфельде пал принц прусский Луи-Фердинанд. Стар, свиреп был старик и верный слуга королю.

На заседании присутствовали министры, кроме них — генерал фон Шульц и полковник фон Фредерици. Вальдерзее говорил, обращаясь больше других к старику Ширндингу:

— Найдись среди мятежников военный талант, скажем, гений, — улыбнулся Вальдерзее, — они предпримут, конечно, все с военной точки зрения возможное, но я не думаю, чтоб в ратгаузе сидел новый Наполеон.

— Портупейюнкер Гейнце, — с омерзеньем бормотнул Ширндинг.

— Этот Гейнце, — сказал Фредерици, — у них только в роли паяца, военное командование там в руках русского беглого офицера, он терроризовал, так называемое, «временное правительство» и вместе с поляками взял командование в свои руки. По его плану они забаррикадировали город, а лозунг этого зверя из Парижа — огонь и грабеж.

Вальдерзее проговорил:

— Бакунин? Слыхал о нем еще в Познани; вместе с Чирнером и поляками эта банда достойна виселицы. Но кроме Гейнце, там есть немецкие офицеры, полковник?

— Несколько человек, оберлейтенант фон Мюллер... фон Цихлинский...

Командир гренадерского полка имени императора Александра, Вальдерзее заговорил о приемах гражданской войны в городе и о плане борьбы с повстанцами.

— Существует четыре способа боя: осада, бомбардировка, общий штурм и медленное, детально разработанное наступление, с взятием отдельных укреплений врага. Я думаю, нам придется остановиться на последнем. Осада, классический пример чего показал Генрих IV против Парижа, нам малоподходяща, ибо восстанье должно быть раздавлено с возможной скоростью, дабы не перебросилось на всю страну и не вызвало поддержки в других немецких государствах. Бомбардировка, что прекрасно применил Виндишгрец к Праге? Я думаю, что орудий и пороху у нас достаточно...

Тучный министр Рабенхорст, волнуясь, перебил:

— Простите, полковник, его величество передал мне, что ему было б горько разрушать столицу бомбардировкой.

— Именно. Я понимаю, господин министр, — проговорил Вальдерзее, уставив прозрачные глаза на карту Дрездена, — общий штурм... — Вальдерзее задумался, — Кавеньяк блестяще провел его в Париже, — это было классически, но негодяи засели в домах, к тому ж расположение Дрездена, изогнутые улицы... я думаю, — обратился он к насупленно сидевшему Ширндингу, — надо вести комбинированный способ действий.

— То есть? — низким басом проговорил Ширндинг, не любивший пруссаков.

— Повести частичный штурм, закрепляя взятое — «войной домов», т. е. во взятых домах, саперы будут пробивать стены и мы будем проникать в дом за домом, беря всю улицу до конца. Мои гренадеры это знают уже по Берлину, при захвате улиц, будем брать левую сторону, тогда солдаты при обстреле спрятаны почти всем корпусом.

Вальдерзее говорил и карандашом показывал по карте:

— ... в центре, Георгиевские ворота, отсюда поведем картечный огонь против Шлоссгассе, тут в отеле «Город Гота» главная база инсургентов; на левом фланге поведем наступление из Аугустусштрассе, из Рампишегассе, с угла Топфенштрассе на Морицгассе, где засели они в отелях

«Город Рим» и «Hôtel de Saxe», на правом, от Цвингера двинем на Вильдсруферпляц, на зеркальную фабрику и Софиенкирхе...

14

В комнату совещаний смешной кургузый мальчишка, сын швейцара Ницше, улыбаясь, внес на подносе кофе. За столом сидело Временное Правительство Саксонии: светловолосый Гейбнер, разбитый, охрипший Чирнер, молчаливо-испуганный Тодт. Рядом с Гейбнером — секретарь правительства Грунер и чахоточный почтовый чиновник Мартин. Странно бездейственный ходил Гейнце, не снимая серого пыльника и серой, острой шляпы. На подоконнике озлобленно попыхивал сигарой Бакунин; возле него члены комиссии обороны Цихлинский и Маршаль.

Знали о бегстве короля, утяжелившем положенье восставших, о том, что пруссаки Вальдерзее уже повели наступленье, правым флангом ударив от Цвингера на зеркальную фабрику, а левым, упершись в Неймаркт, — на Фрауенкирхе. Чирнер, злой, писал воззванье к народу: — «Граждане! Король и министры бежали. Страна без правительства предоставлена самой себе. Конституция оболгана. Граждане! Отечество в опасности! Поэтому стало необходимым образовать Временное Правительство...»

В углу лейтенант Мюллер набрасывал воззванье-призыв к солдатам-саксонцам не итти с врагами Саксонии пруссаками. Обращенье к Франкфурту написал Тодт. Когда ж Гейнце, остановясь у стола, разложил раскрашенный план Дрездена и заговорил, указывая карандашом позиции войск Временного Правительства, все обступили стол.

— Нейштадт с вокзалами на правом берегу Эльбы, мост, цейхгауз, брюллевская терраса, дворец, Цвингер, оранжерея, заняты пруссаками и войсками короля, — показывал Гейнце отмеченное зеленым карандашом. — Мы держим весь Альтштадт за исключением дворца и Принценпалэ, все эти улицы и переулки Альтштадта нами забаррикадированы, всего у нас 108 баррикад.

— Сколько войск на передовых баррикадах? — перебил тихо Гейбнер.

— Сказать трудно, всего мы располагаем тысячами восемью бойцов, в Альтштадте четыре батальона коммунальной гвардии.

— Скажите по крайней мере, каковы эти войска, сколько коммунальной гвардии и сколько сбродных частей с вилами и косами, — насмешливо перебил Бакунин, — а также, озаботились ли вы, господин полковник, достать снаряды, ведь пока что оправдана только старая немецкая пословица «Not bricht Eisen», бойцы вместо картечи режут железные штанги и начиняют этим пушки!

Гейнце ненавидел Бакунина; указывая карандашом позиции войск Временного Правительства, заговорил, обращаясь только к Гейбнеру. Бакунин видел густоволосую, черную голову Гейнце и эта голова казалась ему не только нереволюционной, но предательской.

— Герр Гейбнер, во имя защиты революции, спросите полковника, разработан ли план обороны против наступленья прусских войск, которое уже началось?

Гейбнер может быть не повторил бы вопроса Бакунина главнокомандующему, но с Эльбы свежо ухнуло первое орудие.

— Слыхали? — расхохотался Бакунин. — Пруссаки знают свое дело, этот зверь прыгает быстро, у него хороший берлинский опыт! Это вам не саксонские стрелки!

— Господин полковник, у вас есть детально разработанный план защиты?

— Излишне говорить, герр Гейбнер, если Временное Правительство дало мне неограниченные полномочия...

Но Бакунин заговорил резче, тряся кудлатой, львиной головой, сжимая кулаки. На него глядели, слушали все.

— Именем революции требую представленья подробного плана обороны и имею конкретные предложения! Прежде всего, что касается Альтштадта, то на нашем левом фланге мы должны употребить все силы, чтобы провести баррикады от дома Кальберля до театра, Цвингера и конюшен, тогда б мы могли попытаться захватить мост и отрезать Альтштадт. Предупреждаю всех, — кричал Бакунин, — что, если сейчас же мы сами не бросимся в бой со всеми нашими силами, очертя голову, то нас пруссаки раздавят, как мышей. Но нам надо действовать не только в Дрездене, надо взорвать железно-дорожные пути от Редерау к прусской границе и от Бауцена до Лебау, перерезав этим пруссакам путь и выиграв время! От имени своего и моих друзей поляков, помощь которых господин Гейнце, неимеющий офицеров, тем не менее отклоняет, заявляю,

что баррикады Временного Правительства за исключением баррикад Семпера на Вильдсруфергассе, Шефельгассе, между «Hôtel de Saxe» и «Римом», все построены никуда негодно! Далее — провиантом люди снабжаются плохо, дисциплины нет, точного плана действий нет, нет и общего командования. Революционеры сражаются, как попало, обороняются и наступают, как хотят, все это чревато роковыми последствиями, если мы не образумимся сейчас же. У нас должна вестись не тактика уличных боев, а прусская тактика войны домов, мы должны брать отдельные дома, укрепляя их...

— Выгоняя жителей? — перебил Гейбнер. — Мы провозгласившие священный лозунг собственности будем выгонять граждан и истреблять их имущество?

— Это разбой, хороший для банд! — закричал Гейнце.

— Но это ж, черт возьми, революция или нет!? — громово закричал Бакунин, бешенный, с потемневшими глазами. Он ненавидел сейчас их всех больше, чем самого Вальдерзее. — Во имя революции требую сейчас же принять все меры защиты будущей свободы и жизней тех, кто отдался в ваши руки! Мы должны вырвать инициативу боя из рук Вальдерзее и нанести врагу удар! Я предлагаю взорвать королевский дворец! Да, да, милостивые государи! Здесь у меня есть рабочие, они готовы с баррикады на Шлоссгассе через главный шлюз проникнуть к Георгиевским воротам и подложить мину в 4 центнера пороху, проведя шнур к баррикаде. Это пламя покажет, что народ пришел в движение. Этого будет достаточно, чтобы вселить панику и страх у врага и этим в то же время мы выбьем их из главной цитадели!

На площади шумели, пели; с Зеегассе двигались вооруженные колонны подкреплений из Фрейберга, в форме венгерских войск. Эхом раскатывались выстрелы со стороны дворца, треском, перекатами в звучном утреннике. Где-то глухо прорвалось и замерло ура; в этот момент в комнату вбежал бородатый, очкастый, задыхающийся Рекель.

— Что ж сидите!? — закричал он, как пьяный, — пруссаки наступают из Аугустусштрассе и если там не будет подкрепленья наши не выдержат!

Гейбнер встал, побледневший, словно обескровленный.

— Полковник Гейнце, — проговорил он громко, —

отправьтесь на баррикады, взяв пришедшие колонны подкреплений.

Гейнце в сером пыльнике, острой шляпе, вышел. За ним пошли члены комиссии обороны, лейтенанты Маршаль, Цихлинский и Мюллер. Из комнаты совещаний в зал вышли Бакунин и Рекель. Гейбнер остался у окна, прислушиваясь к бою.

— Каждый выстрел разрывает мне сердце, — проговорил тихо Гейбнер, глядя на площадь.

— Баррикады и близлежащие дома надо обложить смоляными венками, — возбужденно говорил Бакунину Рекель, — бойцы у «Hôtel de Pologne» требуют венки, если бойцы не выдержат, мы подожжем венки и не допустим солдат!

— Поди, предложи, когда они в разгар революции твердят о священной собственности домовладельцев! Что ты сделаешь с этими мещанами, я даже не убежден, что Гейнце умышленно бездействует; господин Тодт, по крайней мере, своих чувств не скрывает и беспокоится только, как бы революционеры не совершили какой-нибудь «неправомерный поступок», то есть не подожгли бы дом, иль не расстреляли кого-нибудь, а когда расстреливают революционеров, он разводит руками.

— Мещане, мещане, но что ж ты будешь делать, это Временное Правительство и народ верит Гейбнеру!

— У Гейбнера жена родила! — засмеялся Бакунин, безнадежно махнув рукой. — Мне кажется, что он больше думает о жене, чем о революции, иль во всяком случае, уверен, что революция побеждает также легко, как рожает его супруга.

По лестнице ратгауза продирался сквозь толпу, бежал семнадцатилетний юноша из гимнастического союза, связь 1-го батальона с Фрауенгассе; по запыхавшемуся лицу Бакунин понял, что сведенья неблагоприятны.

— Пойдем, — проговорил, идя за юношей в комнату совещаний.

Гейбнер писал воззванье к народу: — «Граждане! Рабство иль свобода?! Выбирайте! Ваша судьба решается сейчас. Вся судьба немецкого народа здесь. Другого времени у нас нет . . .»

— Герр доктор, — задохнулся от бега, глотая слова, юноша, — от командира, лейтенанта фон Мюллера с Ней-

маркт, с Фрауенгассе, бойцы не выдерживают, бросают баррикады, уже бросили «Город Рим», — от страха, от бессонницы слезы выступили на глазах юноши.

— На Неймаркт!? — Гейбнер встал, схватив шляпу. Хрупкий, голубоглазый Гейбнер сейчас был величественен. — Скажите лейтенанту Мюллеру, что я еду! — сказал, опрометью бросившемуся в дверь, юноше.

— Чирнер, вы останетесь здесь, подпишите и отдайте в печать приказ по баррикадам, а я еду на Неймаркт, кто со мной? Бакунин, поедемте!

15

От Аугустусштрассе и Цейхгаузпляц, левым крылом опершись на окрестности Фрауенкирхе, пруссаки графа фон Вальдерзее двигались на Семпером укрепленную баррикаду. Зоркоглазые бранденбурцы утомили баррикады гимнастических союзов метким и беспрерывным огнем. Изза мешков с песком, камней, столов, отстреливались гимнасты; но, перебегая игрушечными пешками по Неймаркт, близились бранденбурцы и первая баррикада, под командой лейтенанта фон Мюллера, смялась и дрогнула, потому что на бруствере семнадцатилетним юношам не захотелось умирать. Но веснущатому крепышу, сыну саксонского генерала, лейтенанту фон Мюллеру было все равно. Мюллер даже предпочитал виселице баррикады; хрипло, деревянно крича, он размахивал саблей посреди улицы.

— Куда?! Назад, сволочь! На баррикады! — и обезумевшего желтолицого человека Мюллер, схватив, сразмаху ударил эфесом сабли в зубы.

Гейбнер и Бакунин скакали по улице. Бакунин в изорванном, измятом фраке; Гейбнер в распахнувшемся сюртуке; Гейбнер в седле сидел прекрасно, натянутые штрипками брюки обтянули сухие колени. Возле Мюллера Бакунин соскочил с тяжелого, упряжного коня.

— Братья! Граждане! Солдаты революции! — закричал надтреснуто Гейбнер. Гейбнер сейчас силен и смел. Бросив поводья первому подбежавшему, кричал голосом отчаянным, которого не слышал сам: —

— Братья! Граждане! Вперед! — Гейбнер бросился на оставленную баррикаду. Вблизибегущие остановились, далекобегущие повернулись. Гейбнер с лейтенантом Мюллером и кучкой молодежи бежали к брошенной баррикаде.

— За свободу! — машет правой рукой Гейбнер, перекошенным ртом кричит Мюллер. И к баррикаде стали возвращаться гимнасты. Пули свистят, бьют в голубую стену соседней колбасной, отбивают штукатурку; в дома тащут раненых. Гейбнер, не слыша своего голоса, с веющими вокруг головы золотистыми волосами, в разлетающемся сюртуке кричит: —

— Рабство или свобода?! Ваша судьба решается сейчас! Вся судьба немецкого народа здесь, на этой баррикаде!

Бойцы залегли, баррикада открыла огонь, кто-то закричал — Бегут, бегут! — Это юноша, связь лейтенанта фон Мюллера, крича, стреляет, лежа у самых ног Гейбнера. Выстрелы заварились отчаянной кашей, слышно: — Бегут! бегут! — и видно: игрушечными фигурками убегают пруссаки по Неймаркт. Из-за косяка, по пруссакам бьет из штуцера лейтенант фон Мюллер, выкрехтывая площадные ругательства. У противоположной стены скусывает патрон, стреляет по пруссакам Бакунин из одноствольного кухенрейтера.

16

Баррикада замолчала, когда Неймаркт стала пуста. Гейбнер легкий, Бакунин громадный, поднялись в седла. Гимнасты радостными глазами провожали Гейбнера. Гейбнер и Бакунин ехали шагом по Фрауенгассе.

— Гейбнер, — с седла говорил Бакунин, когда в узкой улице ехали, касаясь друг друга коленом, — мы разные люди, ваши взгляды умеренны, но после того как вы действовали, не щадя жизни, как лучший герой революции, верьте мне, меня не пугает ваша умеренность и к чему бы ни пришла революция, знайте, моя жизнь в вашем распоряжении. Я понял, что сейчас не о чем спрашивать, а нужно рискнуть головой.

Гейбнер улыбнулся, улыбкой размягченной мягкостью глаз.

— Бакунин, я не чувствую себя даже политиком, — сказал Гейбнер, — я не наделен сильными страстями, но с пути, на который я встал в защите конституции, я не сойду. Qui vult quod antecedit, vult etiam quod consequitur.

— Я латыни не знаю, — бормотнул Бакунин.

— По старонемецкой пословице это значит, кто ска-

зал А, должен сказать и Б. Если вы поставили на эту же карту жизнь и хотите отдать ее на этих же баррикадах, то будем друзьями.

Гейбнер протянул Бакунину руку и Бакунин крепко ее пожал.

— Я поеду на Цангассе, а вы езжайте на Вильдсруфер, — сказал Гейбнер.

Тяжелый, упряжной, мохнатый конь не хотел отъезжать от кобылы, Бакунин ударял его каблуками, повернул, тронул рысью. Возле Вильдсруфергассе Бакунину показалось, мелькнула, перебегая улицу, худая фигура Вагнера, в берете, в широких панталонах, синем сюртуке; даже показалось, что фигура композитора выражала веселье.

17

Аттаки на баррикады Семпера были отбиты. С рудокопами отстрелялся Бакунин и на Брейтештрассе; но бойцы ждали ночи, как спасенья, чтоб, упав темнотой на Дрезден, остановила б набатные колокола и выстрелы, повалив шпили дворцов, колокольни, все смешав чернотой. Ночь не хотела приходить, но пришла.

В зале ратгауза, поджав ноги, на матраце, в испачканном фраке сидел Бакунин. Рядом полулежал, наливал в жестяную кружку кофе из большого кофейника Рекель; сидели Маршаль, Цихлинский, Мартин, группа поляков и в светло-синих, широких панталонах, по-турецки поджав ноги, отпивал кофе Вагнер, возбужденно говоря:

— Это блестящая, блестящая победа! — Вагнер был даже красив, в необычайно радостном возбуждении обращаясь то к Бакунину, то ко всем окружавшим, — такие переживания бывают раз и далеко не во всякой жизни! Я пробрался под обстрелом, с вечера, на Крейцтурм, но представьте, туда залезло уже несколько человек и между ними учитель Бертольд, пытавшийся завязать со мной во время боя сложнейший философский спор на самые отвлеченные вопросы религиии и права!

Все расхохотались.

— У башенного сторожа я достал тюфяк и устроился почти что с комфортом. И вот, на рассвете, вы подумайте, это была изумительная картина! С одной стороны беспрестанное, жуткое гуденье колоколов, с другой — свист прусских пуль, а из саду у Крейцтурм слышу в начавшемся

бою самую настоящую песню соловья! Нет, нет, это был удивительнейший рассвет в моей жизни!

— Вагнер, — прожевывая колбасу, улыбался Бакунин, — если б вас сделать главнокомандующим революцией, она прошла бы у вас поразительно музыкально!

— Я даю слово, слышал самого настоящего соловья! И в полнейшей утренней тишине, когда из-за Эльбы встало, как расплавленный, огненный шар с ярким контуром, алое солнце, еще не было ни выстрелов, ни колоколов, а с Тарандерштрассе уж начала доноситься марсельеза. Оттуда шли колонны человек в тысячу отлично вооруженных, в ногу марширующих рудокопов, солнце осветило их необычным светом, о, это была такая незабываемая сцена! Тут присутствовала как раз та самая стихия, которую я так долго отрицал в немецком народе! Тут она встала передо мной с полной ясностью, облеченная в изумительную форму! Рудокопы везли с собой на вороных клячах четыре небольших пушки. Мне объяснили, что эти пушки принадлежали господину Дате барону фон Бургу, с которым я познакомился на торжестве открытия дрезденского певческого общества. Помню он тогда еще произнес чрезвычайно благожелательную, но до смешного скучную речь. И, поверьте, мои друзья, — засмеялся Вагнер, — когда из этих пушечек стали стрелять по солдатам, эта плохенькая канонада, о ирония судьбы! напомнила мне скучную речь господина Дате фон Бурга!

Поперхнувшись куском, Бакунин захохотал. Хохотали и окружившие матрац поляки, Цихлинский, Мартин, Рекель. Из комнаты совещаний вышел Чирнер, приглашая на заседание.

18

Уже шел рассвет. В комнате необычно суетился тайный советник Тодт, жестикулировал, наседая на Гейбнера.
— Члены магистрата протестуют против того, что по распоряжению Бакунина в нижний этаж свозятся запасы пороха и там же льют пули! Я присоединяюсь! Мы подвергаем здание опасности!

—Одну минуту, — устало говорил Гейбнер, как бы успокаивая Тодта, протянул руку, смыкая светлые, окружившиеся кругом бессоницы, глаза, — я переговорю с членами магистрата и с Бакуниным.

Но в этот момент, за стеной, раздался шум, словно в ратгауз с боем ворвались пруссаки. Посреди зала сгрудилась толпа разъяренных гвардейцев, махавших ружьями. Гейбнер подбежал к двери: в толпе металась громадная фигура Бакунина, Бакунин кричал: — Граждане! Революция не знает бессудных убийств!

— Судить! Судить!

Гейбнер пробился; в толпе зажали сине-окровавленного человека, по-детски поднявшего к лицу руки.

— Ведите в комнату совещаний! Цихлинский займите вместе Бакуниным место судей! — кричал Гейбнер. Комната совещаний наполнилась вооруженными; толпа напирала; пробившись сквозь нее мощным телом, — Подсудимый! — закричал громово Бакунин, садясь за стол, — назовите ваше имя, фамилию, род занятий!

Окровавленный человек нерешительно качнулся, побледнев под голосом судьи.

— Ганс Фогт, владелец мехового магазина с Брейтештрассе, — побелевший Фогт стоял в отчаявшейся позе. Бакунин еле потушил улыбку, утерев ее широкой ладонью.

— В чем вы его обвиняете?

— Когда мы шли по Брейтештрассе, — заговорил ближний, рослый гвардеец, — из верхнего этажа выстрелили, мы бросились, во дворе стоял он, — ткнул гвардеец в Фогта, — у него дымилось ружье, это шпион...

— Постойте! Герр Фогт, вы действительно стреляли?

— Да, — и бледность лица Фогта стала меловой.

— Стреляли? — переспросил удивленно Бакунин.

— Да, но я стрелял не в них, — указал на гвардейцев Фогт, — я честный человек, меня тридцать лет знает вся Брейтештрассе...

Бакунин увидел. как в жалости к Фогту побледнел Гейбнер.

— ...господин судья, — колени Фогта дрожали, язык заплелся, говорил торопясь, спасаясь от смерти, — у меня от покойного отца, седельщика Карла Фогта осталось дробовое ружье, с которым мой покойный отец ходил на охоту, я не охотник, всю мою жизнь не охотился, но в городе так много выстрелов и моя жена сказала, что можно испробовать ружье, и я выстрелил в голубей... — и совершенно неожиданно, сжавшись, Фогт вобрал в плечи голову, заплакав, закрываясь, размазывая по избитому лицу слезы.

— Какое это ружье? Вы его взяли? — Бакунин едва сдерживал смех. Гвардеец передал ржавое дробовое ружье с стершейся насечкой «Льеж». Удерживая смех, Бакунин насупился сильней.

— Герр Фогт, ваше ружье действительно похоже на палку, но зачем же вы в такой серьезный момент, когда народ в отчаянном напряжении отстаивает свои права, вздумали стрелять по голубям?! Ваш поступок неосторожен, вы за него могли поплатиться, но теперь вы свободны.

Бакунин писал на клочке бумаги пропуск. — Возьмите с собой вашу замечательную флинту и передайте фрау Фогт, что из нее даже по голубям едва ли можно стрелять с большой пользой.

Смех наполнил комнату совещаний.

19

Ходя из угла в угол, кричал покрасневший тайный советник, член правительства Тодт. — Чем?! — указывал на окно, откуда виднелись тучи черного дыма, — чем вы оправдаете это?! Королевский театр, лучший театр Саксонии пылает, подожженный войсками Временного Правительства! Там погибли декорации, гардероб! Вместе с театром горит Цвингерпавильон! Гейбнер, вы человек, ценящий национальное достоянье, это же вандализм! Страна воспримет нас, как — правительство ужаса!

Если б вошла сейчас Цецилия, только взглянула б, поняла, как разбит мертвенно бледный, охрипший Гейбнер; он заговорил еле слышно, осип, пропал голос.

— Моему личному чувству пожар оперы также ужасен, как вам, но дело дошло до открытого боя и тут не руководятся ощущеньями, ибо борьба идет о правах народа. Если б это было в моих силах, я б не позволил в Дрездене раздаться выстрелу!

О, как зарыдала бы, заметалась раненой птицей Цецилия, услышав этот дрожащий, еле слышный голос.

— Но кто-нибудь да отдал приказ поджечь!? — бешенно закричал Тодт.

— Я не отдавал, восставшим пожар ненужен, опера подожжена, вероятно, прусскими снарядами.

— Ну, конечно, пруссаками! — захохотал Тодт, — теперь все «прусское!» Зачем же музикдиректор Рекель во дворе ратгауза готовит смоляные венки?! Я своими ушами

слышал, как вчера еще господин Рекель, так недавно зарабатывавший свой хлеб в этой опере, говорил Бакунину, которому наше дрезденское несчастие кажется чуть ли не удовольствием, о необходимости сжечь театр при защите левого фланга!

— Верно! — крикнул Рекель.

Гейбнер измученно поглядел на Бакунина и Рекеля.

— Такой разговор был, — проговорил Бакунин, — и, если б понадобилось для спасения революции сжечь не только оперу, а пол-Дрездена, я думаю, всякий поставивший на карту либо смерть, либо свободу народа, поджег бы пол-Дрездена.

В комнате произошло замешательство. Гейбнер останавливал шум, но, схватясь за голову, закричав истерическим голосам, — О, бедлам преступлений! — Тодт выбежал из комнаты совещаний. Змеящимися клубами в голубое небо стлался над Дрезденом, уходил дым театра, где недавно гремела девятая симфония под управлением Вагнера. Дым вырывался гигантскими клубами, оплетая белое барокко Цвингера; изредка показывалось душное пламя с косматым языком.

20

Шел третий день боя. Время над городом плыло с задыханиями, перебоями, толчками. Дома умерли, окна забиты. Тяжело дышал город восстанья. В Дрездене развязался хаос борьбы. Вальдерзее вел бой, но и он терял терпенье; на баррикады Семпера бросил в четвертый раз, в лоб, на штурм три роты александровских гренадер и лейтенант фон Кийленштерна, раненый в аттаке на «Английский дом», падая, закричал нечеловеческим голосом: — «Kinder! Lasst mich hier nicht liegen!» Вокруг замолкших колоколен метались стрижи; от пушек подымались с площадей звенящей тучей голуби. На носилках таскали закопченных порохом раненых прусских гренадер, саксонских стрелков и штатских с черно-золото-красными лентами и кокардами.

Вагнер с трудом пробирался в зал ратгауза, осторожно шагая меж лежащих спящих. В комнате совещаний, на подоконнике сидел Гейбнер, опухший, без голоса; радостно пожав руку Вагнера, проговорил еле слышно.

— Хорошо, что вы пришли, будем считать это добрым предзнаменованием.

— Устали, Гейбнер?

— Ослаб. Три дня не сплю, не ел ничего горячего, не знаю, как двигаюсь, было б легче сейчас умереть, чем нести ответственность за все дело.

— А Чирнер и Тодт? Что? Неужели скрылись?

— Оба, — улыбнулся мягко Гейбнер, — Тодт заявил, что не несет ответственности за «безобразия» и уехал во Франкфурт...

— А Бакунин?

— Он тут, заступил их место, мы остались вдвоем, ах, Вагнер, верите ль, что у меня в груди? Я не призван для государственной роли, я рядовой гражданин и, поверьте, среди этих боев и крови я ни на минуту не забываю моей жены...

Лицо Гейбнера свела судорога, он отмахнулся, взглянул на стенные часы, сказал: — Пройдите к Бакунину, он в зале, там, в углу, а мне надо к Гейнце на Вильдсруфергассе, там очень много бестолковости, — Гейбнер надел широкополую шляпу с черно-красно-золотой кокардой, и надев, показался еще бледнее. Взяв Вагнера под руку, идя, тихо проговорил: — Вагнер, я знаю, мы проиграли, теперь нужно только одно, честно умереть.

21

В комнате совещаний только Бакунин сохранил, перекатывавшийся осипшей октавой, голос. Остальные возбужденно, бешенно шептали, стараясь жестами дополнить речь.

—Члены магистрата обратились к правительству, — приложив руку к горлу, шептал Бакунину Цихлинский, — с требованьем удалить из ратгауза порох, они протестуют против разрушения трех домов и пожара оперы, Гейбнер на баррикаде, просил тебя выслушать, выяснить дело.

Бакунин насупился, злоба — в потемневшем бакунинском лице, он знал это дело.

В комнату совещаний, где у окна стоял Бакунин, курил сигарету, смотря вдаль на дымы пожаров — вошел, тяжело задыхаясь, заместитель бургомистра, штадтрат Пфотенхауер. Бакунин обернулся к нему.

— С кем имею честь говорить? — проговорил Пфотенхауер.

Презрительная улыбка пробежала по лицу Бакунина. Штадтрат Пфотенхауер застегнут на все пуговицы, стоячий воротник, несмотря на жару, подпер шею и стянут синим галстуком.

— Вы имеете честь говорить с членом Временного Правительства Саксонии, — ответил Бакунин.

— Я заместитель бургомистра, штадтрат города Дрездена, — не сдерживая вырывавшегося гнева, проговорил Пфотенхауер, — от имени магистрата заявляю протест лицам командующим восстаньем! Мы приказываем! — закричал вне себя Пфотенхауер, ударив по столу, — немедленно прекратить в ратгаузе литье пуль и очистить подвалы от пороха!

Усмешка в темных усах Бакунина, русские степные глаза насмешливы.

— Чьим именем вы приказываете? Магистрат не имеет никаких прав, его больше не существует! — Бакунин смерил с ног до головы штадтрата.

— Что?! — вскрикнул Пфотенхауер, делая угрожающий шаг и голос зазвенел, переходя в бешенство тенора. — Вы стащили 18 центнеров пороху! Ваши люди набивают патроны и курят сигареты! Это угрожает зданию! Ратгауз не строился для того, чтоб в нем лили пули и свозили порох!

Улыбаясь гневу, сюртуку, синему галстуку, Бакунин сказал тихо: — А дальше что, что вы еще *требуете*? — и расхохотался. — У городского совета нет сейчас права требовать, он сейчас *нуль*. Поняли?

Штадтрат будто шатнулся, побледнев, но вдруг ступив бешенным шагом, крикнул и от крика задрожали ноздри и щеки: — Я требую ответа за поджог трех домов на Брейтештрассе и за поджог театра!! Чем собирается возместить так называемое временное правительство причиненные убытки? Городская касса и депозиты никем не охраняются, тогда как тут все достояние граждан! Ваши войска по вашему приказанью ворвались к придворному проповеднику фон Аммону и отняли у него ключи от Софиенкирхе! — штадтрат дышал глубоко, еле успевая под сюртуком переводить дыханье больного, склеротического тела.

Бакунин злобно прервал молчанье: — Штадтрат Пфотенхауер! Именем Временного Революционного Правительства, в руках которого сейчас судьба свободы всей

страны, я запрещаю вам раз навсегда обращаться с подобными требованиями! — Бакунин уже кричал громовым голосом. — Ваши филистерские слезы для нас нектар богов! Революции нет дела до вашего ратгауза и благосостояния ваших мещан! Мы разрушим все, что нам нужно, не обращая вниманья на потоки мещанских слез! Ваше бездарное зданье оперы сгорело потому, что мы защищали жизни наших бойцов на левом фланге! Нам удобно свозить порох в ратгауз и мы будем свозить! Вы протестуете против смоляных венков, но их зажгут при наступленьи врага! Мы разрушим все, для победы нашего правого дела! Что ваши дома! Пусть они взлетают на воздух! У меня нет времени с вами разговаривать!

Слишком много бешенства было в бакунинском крике; если б в комнату не вошли Цихлинский и Маршаль, может быть штадтрат и бросился б на Бакунина. Голосом срывающимся, налившись кровью, Пфотенхауер закричал:

— О каком «правом деле» говорите вы? Иностранец, беглец, у нас в Дрездене разжигающий костер противузаконных и противубожеских бунтов! Иль вы не видите, сколько жертв вопиют к небу!! Вам все равно, что граждане Дрездена умирают! Вам нужен этот пожар нашего достояния и нашей крови! Но ошибаетесь, герр!!! Германия не страна рабов!!! И я не увижу вас ранее, чем на виселице на этой же площади!! — и схватившись за ручку двери, штадтрат распахнул ее так, как никогда не распахивал за шесть лет работы на совещаниях магистрата.

22

Ночью, с свечами, сидели в комнате совещаний измученный, синебледный Гейбнер, сосредоточенные, обеспокоенные Цихлинский, Мюллер, Маршаль, и возбужденно бегал, вея бородой, с поднятыми на лоб очками, Рекель. Рядом с Гейбнером — казавшийся спокойным Гейнце. Раскатывающейся, срывающейся в лай октавой говорил Бакунин о том, что бой в Дрездене безнадежен, что надо отступать. На столе перед комиссией обороны и Временным Правительством цветилась размеченная, пестрая карта Дрездена.

Гейбнер, грязной рукой откинув назад длинные волосы, просипел: — Полковник Гейнце, обрисуйте стратегическое положенье; важно знать, продержимся ли мы до прибытия подкреплений из Хемница?

Густоволосый, бровастый, с растущими из ушей и ноздрей пучками жестких волос, из под серого пыльника блестевший золотым воротником мундира, Гейнце, не меняя позы, проговорил:

— Когда может прибыть подкрепление?

— Мы приняли меры, пошлем уполномоченных, надо расчитывать — два дня.

— Не продержимся двух дней, — уверенно проговорил Бакунин.

— Можем держаться два дня, — сказал Гейнце.

— Достаточно посмотреть, — показал Бакунин на карту сигарой, — пруссаки сжимают нас все поспешней, мы скоро очутимся в кольце и это может произойти даже завтра, если наступление Вальдерзее пойдет таким же темпом. Оптимизм Гейнце неуместен, мы не можем восстановить положенья, нет сил. Пруссаки отказались от боя на улицах, в котором мы могли бы им противустоять. Они применяют излюбленную тактику, берут дом за домом, под прикрытием артиллерии, кстати сказать, мало церемонясь с «священной собственностью».

— Пруссаки мне не указ, — просипел Гейбнер.

— Оттого и победят; но сейчас дело не в том, у нас нет достаточного числа военных командиров, после отказа от их услуг, поляки уж покинули Дрезден. Наши пушки, подарок герра Дате фон Бург, никуда не годятся, это старые калоши, пороху и пуль не хватает, усталость у людей полная и в подкрепленья никто не верит, количество раненых растет, где ж тут место оптимизму?

— Что же ты предлагаешь? — перебил ходивший взад-вперед Рекель.

— Мой план, вывод революционных войск за Дрезден, чтоб засесть в рудных горах и там поднять восстанье, связавшись с Богемией, Баденом и Пфальцем, это единственное спасенье.

Канонада словно сошла с ума; пруссаки ударили обрывающими душу пушечными залпами; что-то с страшным грохотом и раскатами обрушилось вблизи. Маршаль и Мюллер подошли к темным окнам. Навстречу метнулись красные языки и в свете огня тучи ночного, пропадающего дыма.

— Сегодня к рассвету, — лаял бас Бакунина, — принять самые отчаянные меры контр-аттаки со всех барри-

кад. Это задержит пруссаков, а мы приведем в порядок резервы и приготовимся к выводу войск единственным, еще свободным, путем через Дипольдисвальдерпляц по Гроссе Плауеншегассе. Чтоб нас не обошла конница, срубим и завалим деревьями Максимилиановскую аллею, а на Вильдсруфскую баррикаду, на которую пруссаки так точат зубы, предлагаю выставить хотя б все картины галлереи с Мадонной Рафаэля во главе, оповестив об этом полковника Вальдерзее.

— Что!? — остановился, нервно засмеявшись, Рекель.

Гейнце криво, презрительно усмехнулся.

— У нас нет времени шутить, — прохрипел Гейбнер, — при чем тут картины?

— Я говорю серьезно, — проговорил Бакунин, — надо задержать пруссаков во что бы то ни стало. О выставке на баррикады Мадонны и прочих знаменитостей надо оповестить и это может на время задержать пруссаков, ибо их офицеры все ж «zu klassisch gebildet», чтоб открыть огонь по Мадонне Рафаэля, а если откроют — тем лучше, на них падет позор варварства!

— Я считаю это шуткой, а если серьезно, то подчеркиваю. мы можем погибнуть на баррикадах, но немецкую свободу и конституцию никогда не запятнаем именем вандализма! — резко просипел измученный Гейбнер.

— Очень жаль; в истории, Гейбнер, судят только тех, кто побежден. Я могу лишь сказать, что даже в такой решительный час, когда тут, на улицах Дрездена, за свободу умирают не картины Рафаэля, а живые люди, когда решается судьба не только немецкой, а может быть всей европейской свободы, в вас нет ни должной твердости, ни желанья победы! Я ж настаиваю именно на принятии самых отчаянных, самых невозможных мер, пусть выйдем все на баррикады, может это поднимет дух бойцов, пусть бросимся на пруссаков и умрем за спасенье революции!

— А если эта «отчаянная аттака» по всему фронту, потерпит неудачу? — холодно, с расстановкой проговорил Гейнце, — ведь этим мы обнажим подступы к ратгаузу и тогда?

— Тогда свезем остатки пороха сюда и когда пруссаки приблизятся, взорвем все, к черту, на воздух!

Гейбнер казался обреченным; думал о том, как весть о смерти примет неоправившаяся от родов Цили; на глаза

могли навернуться слезы, но Гейбнер повернулся на фразу Бакунина, проговорил:

— Мы имеем право биться и умереть, но не разрушать город.

Бакунин отшвырнул стул, заходил по комнате тяжелыми, подминающими половицы, шагами. «Полная безнадежность, они еще хуже Коссидьеров, Флоконов, Ламартинов, у тех был хоть петушиный пафос, а тут ничего кроме боязни как бы не разбить чашку иль миску какой-нибудь фрау Мюллер. И это революция?»

— Я предлагаю согласиться с планом контр-аттаки, — заговорил Рекель.

Гейнце сидел безучастно; думал, что дело в Дрездене кончено, что, бежав, Тодт и Чирнер поступили правильно; может быть тут, в ратгаузе, в этой же комнате совещаний схватят его пруссаки и, как командира восстанья, поведут к Вальдерзее. Гейнце слушал удары артиллерии, знал, что близятся. Сквозь застлавший уши звуковой туман услыхал Гейбнера.

— Полковник Гейнце, вы согласны?

Не то от недоедания, не то от переутомления, Гейнце показалось, что Гейбнер далеко проплывает в тумане и лицо у него крошечное.

— Согласен, — с напряжением произнес Гейнце, но присутствующие не почувствовали этого напряжения. И снова лаящим басом заметался голос Бакунина, сыплющего пепел на стол, на карту, на фрак. Гейнце машинально встал, пересек дымную комнату, пошел в уборную.

— Да как же не рубить Максимилиановскую аллею! Боже ты мой! — убеждая, кричал Бакунин. — Если мы будем думать о каждой чашке фрау Мюллер, — нам не сделать самой плевовой революции! Прорвись вдогонку конница, она изрубит нас в котлеты!

— Бакунин прав, — прохрипел Гейбнер, — спасая людей, аллею надо забаррикадировать, хотя б и столетними деревьями.

— Слава Богу, хоть это, — бормотнул Бакунин, дымя сигарой.

— Маршаль, вы поедете во Фрейберг за подкреплениями?

— Если Временное Правительство прикажет.

— Цихлинский отправится в Плауен, я думаю, Гейнце ничего не имеет против? Где Гейнце?

— Он вышел, герр Гейбнер, — прохрипел Цихлинский, — слушаюсь, только я плохо знаю дорогу.

— Тогда Рекель, поезжай вместе с Цихлинским, ваша задача скорейший подвод подкреплений; во Фрейберге четыреста резервистов и в Плауене около этого.

Не закрыв за собой дверь, вошел Гейнце.

— Полковник, вы согласны на поездку Маршаля и Цихлинского за подкреплениями?

— Да.

— Маршаль, послушайте, — кричал Бакунин, — возьмите с собой Вагнера, он спит тут у меня на матраце, он будет вам полезен, а тут ему уже нечего толкаться!

23

Когда спали баррикады, в тусклом рассвете, по Пирнаишегассе, меж разбитых домов прошел, как бы спотыкаясь, человек в сером пыльнике, серой остроконечной шляпе. Он шел вдаль от баррикад, в сторону пруссаков, скрываясь в кривом переулке. Все ускорял шаги, низко опустив голову, пока навстречу из Клейне Шлоссгассе не показался взвод прусских гренадер. Тут человек замедлил шаг, словно стали у него отниматься ноги.

Из окон двое посторонних видели, как в серости рассвета пруссаки остановили человека в сером пыльнике. И вдруг прусский майор стал срывать с человека пыльник, шляпу, блеснул отделанный золотом мундир. Рослый, рыжий майор сорвал у арестованного с портупеи саблю. Взвод повернул назад, конвоируя главнокомандующего восстаньем, сдавшегося полковника Гейнце.

24

В ратгаузе, в главном зале, сторож Ницше подметал пол, охапками выносил во двор солому. По всем этажам ходили члены магистрата, во главе с заместителем бургомистра Пфотенхауером; рассылали уборщиц, приказывали мыть лестницу, посылали сторожей за стекольщиками.

На площади шумно строились, рассчитывались по нумерам, взводами уходили на баррикады бойцы. Только в комнате совещаний, откуда только что выбежала вооруженная Паулина Вундерлих, шепча «все погибло, все по-

гибло», оставались еще Гейбнер, Бакунин, Мартин и наборщик Стефан Борн, принявший главное командование войсками. Борн, жилистый, громадный, как столб, прохаживался, молча. У окна, скусив патрон, Бакунин шомполом забивал заряд. Гейбнер стоял землисто-серый, как вырытый из земли труп, невооруженный, в руках с шляпой.

— Бакунин, — проговорил Гейбнер, останавливаясь подле него, — ты единственный близкий человек, прежде чем выводить войска и предпринимать дальнейшую борьбу, скажи прямо: верно ль что твоя конечная цель, учреждение красной республики?

Бакунин засмеялся. — О чем ты волнуешься Гейбнер? — забивал крепче заряд. — Что умрем вместе за разные идеи? Ну, мои цели, — проговорил, подымая штуцер, надевая пистон на капсюль, — не имеют ничего общего с немецкой конституцией и, если хочешь откровенности, считаю это ваше движенье смешным, филистерским и неумным, но беру ружье и, пожалуй буду даже рад, если меня, как тряпку, расстреляют пруссаки. Эх, Гейбнер! — вскинул ружье Бакунин, — всего не перескажешь, друг! Да и времени нет, человек слишком сложен. Пусть мои идеи остаются при мне, верь одному, я начал борьбу вместе с тобой и пойду до конца. На меня можешь положиться, как на преданного друга. К тому ж, дорогой, умирают ведь в тысячу раз скорее, чем об этом думают.

Гейбнер, уставившись в одну точку светлостью глаз, стоял потерянный и грустный. Это уж не пламенный Гейбнер неймарктской баррикады, увлекающий Бакунина, это тонкий плющ, вьющийся по бакунинскому дубу.

— Ну, пойдемте, — обращаясь ко всем сказал Бакунин, — войска уж собраны, ты должен их приветствовать, Гейбнер.

Идя по пустому, уже подметенному залу Гейбнер говорил странно-печально: — У меня какой-то томительный разрыв сознания, выпали дни, эпизоды, хожу как сомнамбула.

— Это нервная усталость, — спускаясь по лестнице, сказал Бакунин, — нет, надо было видеть, как на Максимилиановской аллее мещане вылезли из домов и оплакивали «die scheenen Beeme» — Бакунин, засмеявшись, потер лицо большой ладонью снизу вверх. — Не знаю, может действительно было б лучше, Гейбнер, если б дрезденский

ратгауз стал нам могилой? Мир так беден, брат, событиями, что следовало б хоть в Дрездене показать одно, заслуживающее вниманья, и поднять вместе с собой на воздух часть Дрездена.

— Сумасшедший, — улыбнувшись, проговорил Гейбнер.

— Да, если б я верил в возможность найти у немцев творящую душу революции, которая обнажена у нас, славян, и которой, если нет, то была по крайней мере, у французов; нет, в немцах нет ее, с вами я знаю, что иду на верную гибель, но иду потому, что у меня нет другого пути. Я уже вижу лицо ликующего штадтрата, когда сбудутся его пророчества о моей виселице здесь на Альт-Маркт. Ну да ладно, стало быть я иду на Вильдсруфергассе, — проговорил Бакунин. Он свернул от ратгауза; услыхал за собой команду; командовал Стефан Борн войскам, приветствовавшим главу Временного Правительства. Оглянувшись, Бакунин увидал, стоя перед войсками, подняв вверх правую руку, Гейбнер говорит речь.

25

Держалась еще только Вильдсруферская баррикада, подступы к которой архитектор Семпер вывел с совершенным искусством строителя. Этой ночью толпились тут рабочие зеркальной фабрики, сбродные толпы косиньеров, звеневших косами, остатки коммунальной гвардии. С телег, стоя, раздавали бойцам провиант женщины, веселые базарные торговки. Бегали ребятишки, разнося хлеб. Баррикада была обведена камнями, завалена мешками, только сверху живописно перевернулся разбитый рояль, да возле дома привалилась перевернутая почтовая карета. С баррикады в соседние дома люди проходили сквозь пробитые стены. Крепка еще баррикада Семпера, упершаяся в магазин и ресторан Энгельса. На баррикаде в темноте вился черно-красно-золотой флаг. Пруссаки ночевали в двухстах шагах, в таких же полуразбитых домах. Оттуда доносилась дробь барабанов.

Ночь была темная. Бакунин обходил баррикады; на Максимилиановской аллее лежали, как трупы великанов, еще недавно в небо уходившие, уж готовые зацвести липы. Мертвые, убитые, они шумели листвой, заграждая улицу.

— Республика, дьявол расчитается с нами за твою

республику, — услыхал Бакунин в темноте. У костров в разбитых домах, сидя, напевали гвардейцы; освещенная кострами и факелами толпа незнакомых, вооруженных людей, тихие песни, конец революции, создавали у Бакунина ощущенье невыразимой тоски.

Бакунин сел на крыльцо, в темноте прислонясь к стене дома, под большим тазом-вывеской медника Нушке. Ничем несвязанные с баррикадой, проходили мысли, и как бывает в минуты потрясений, вставали неожиданные, но совершенно явственные воспоминания. Образ сестры Татьяны; глаза темноголубые, глубокие; бакунинский округлый лоб и общее Бакуниным выраженье обреченности. «Умру», по-русски пробормотал Бакунин, «и никто не узнает». Ни себя, ни немцев, не было жаль. Улица чужая и чуждая. Бакунин закрыл глаза, выпрастывая из-под себя онемевшую ногу. Вспомнил, как в Прямухине, в конце лета гуляли по любимой лопатинской гати, это было вечером, было уже темно, Татьяна в белом платье встала на забор и представляла привидение, а он, весь в черном, в виде черта крался к ней.

На Крейцкирхе пробило час. Бакунин встал, тихо прохаживался меж разбитых домов, покуривая в темноте. Вспомнил песенку, сочиненную отцом, когда дети, бывало, уезжали из именья: «Настал уж час, готовы кони, село Прямухино прости». Кругом во сне стонали, храпели. Бакунин остановился. «А вдруг выдадут?», пробормотал и мороз прошел по спине.

— Снимать! — проговорил кто-то, подбегая, — гимнастические союзы уж выступают, Гейбнер и Мартин ждут на Дипольдисвальдерпляц.

На Крейцтурм ударили три коротких удара: сигнал к общему отступлению.

26

Карета, запряженная парой стриженых лошадей, тихой рысью ехала по обсаженному каштанами шоссе из Фрейберга к Таранду. Укутавшись в лоденовый, темнозеленый плащ с капюшоном, Вагнер дремал и в стуке вертящихся по булыжникам колес Вагнеру бластилась исполняемая на басовых инструментах мелодия из девятой симфонии.

Карета везла музыканта тихой трусцой назад, в сто-

лицу Саксонии. Мысли стлались неясно, музыкально, дремотно. Зелень ландшафта, черепичные красные кровли, Вагнер полудремал, вспоминая, как коммунальная гвардия Фрейберга маршировала перед ратгаузом, готовясь на помощь товарищам и барабанщик выбивал трель не по коже барабана, а по деревянному ободу. Это неожиданно, поразительно напомнило последнюю часть «Симфони Фантастик» Берлиоза, где слышится щелканье костей во время ночного танца. Вагнеру стало смешно, узкогубым ртом он улыбнулся; мысли перелетали на Веймар, где Лист собрался ставить «Лоэнгрина». Колеса, вертясь, томили музыкой, клоня ко сну. Кони, пофыркивая, бежали в ногу. Но вдруг карета внезапно остановилась.

Что такое? Из сотен глоток неслись ругательства. Вагнер протирал глаза, высовываясь из окна: кругом вооруженные люди. Карета застряла на мосту, меж ругательств, криков, скрипов, лязга, не разъезжаясь с точно такой же каретой, в которой сидело человек шесть вооруженных, незнакомых людей, в форме дрезденской коммунальной гвардии.

— Куда вы? — закричал Вагнер.

В ответ захохотали.

— В Дрездене все кончено, герр капельмейстер!

Вагнер выпрыгнул; почтальоны и трое вооруженных оттаскивали карету, подхватив ее под заднюю ось.

— Где же Временное Правительство?

— А вон, спускается с горы.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Фрейберг — горный городок, гнездо Отто Гейбнера. Из Дрездена к Фрейбергу пестрой лентой движутся революционные войска. На Кениггассе, в небольшом белом особняке, главу Временного Правительства Саксонии ждет жена, Цецилия. Пестрой лентой к серебряно-рудному Фрейбергу шли войска; там, в долинах будет новый бой.

Приближаясь к Фрейбергу, Гейбнер волновался; столько тут пережито, что даже тяжесть управленья длинной, пестро-пыльной лентой вооруженных людей не приглушала волнения.

У старинных городских ворот, потея в сюртуках, ко-

ляску встретили: друг детства Гейбнера, адвокат Глекнер, члены магистрата, командиры фрейбергской и хемницкой коммунальных гвардий. Бакунин с усмешкой смотрел, как сюртуки, цилиндры, белые перчатки окружали вылезшего из коляски, разбитого, изнемогшего Гейбнера. Приветствуя, кто-то закричал «Хох!», но широкоплечий бургомистр заговорил, что Фрейберг просит согражданина Гейбнера, не подвергать город бою и уходить дальше.

2

В гостиннице «Золотой лев», поставив ружье под портретом Фридриха Августа, Мартин снимал пыльные, натершие ноги, сапоги; прошлепал босиком к дивану и лег в изнеможении.

В дверь постучали. На пороге появилась миловидная женщина, в песочной накидке.

— Вам кого, сударыня?

— Я жена доктора Гейбнера.

— Фрау Гейбнер! — радушно вскрикнул Бакунин, — пожалуйста входите! Гейбнер сейчас, он на Марктпляц принимает бесконечность всяческих депутаций!

Цецилия Гейбнер села поодаль, рассеянно, ни на кого не глядя, теребя концы песочной накидки. Бакунину лакей принес бифштекс и гору картофеля; за едой Бакунин повеселел. Издалека узнав спешащие, легкие, взбегающие шаги Цецилия побледнела и как только открылась дверь, вскрикнула:

— Отто!

Цецилия рыдала неприятно, не выпуская Гейбнера из объятий, словно сейчас он уйдет и навсегда сгинет. — Цили, голубка, — ласково, еле слышно говорил охрипший Гейбнер, гладя жену по светлой голове. И всем стало неловко. Вагнер и Мартин отвернулись к Бакунину, потупившемуся в тарелку, бормотавшему что-то невнятное. Два резвых, молодых лакея, в комнату внесли дымящиеся кушанья.

— Ты мне заказал? Вот чудесно, — Гейбнер прошел к столу и с ним Цецилия, села рядом, то что-то смахнет с сюртука мужа, то поднесет к покрасневшим глазам платок, закусывая губы и морща переносицу, удерживаясь от слез.

— Надо быть твердой, Цили,— тихо говорит Гейбнер.

Шумно вошел жилистый, длинный, как телеграфный столб, Стефан Борн, громко застучал высокими, пыльными сапогами.

— Последняя колонна прибыла в порядке, герр Гейбнер.

Потискивая в грубых руках, рассматривая, как нечто совершенно новое, свою старую с егерским, торчащим пером шляпу, Борн сопел. Вероятно виновата была Цецилия, смущая революционеров.

— А скажите, Борн, — прожевывая, торопился Гейбнер, — как думаете, отстояли б мы наличными силами Фрейберг, если б тут развернулся бой? Доносят, что нас преследуют две колонны — полковника Оппеля через Кессельдорф и другая полковника Петча через Таранд.

Борн пожал широким плечом, на бородатое лицо вышла улыбка.

— Я не особенный стратег, герр Гейбнер, — засмеялся очень громко, как смеются добрые люди, — кто знает, каковы силы этих колонн?

— По донесениям, два полка конницы, два орудия и рота пехоты. Но Фрейберг просит пощадить город от уличного боя. Хемницские командиры предлагают двигаться в Хемниц, там сильная гвардия и местность выгодна для обороны.

— А вы уверены, Гейбнер, в хемницских командирах? — проговорил, сидевший поодаль Вагнер, — Я слышал, хемницские командиры — враги конституции.

— Нет, они зовут и предлагают совместную борьбу.

Бакунин ел очень поспешно, очень много. Цецилия глядела на него с ужасом; громадный, в грязном, порванном фраке, длинноволосый, саженный в плечах, с грудью, как наковальня, вот такими именно и представлялись ей эти отчаянные отвратительные революционеры, совершенно несхожие с ее золотистоволосым Отто.

— Что Хемниц, что Фрейберг, один черт, — пробормотал, прожевывая последний кусок Бакунин, — надо скорей уходить в горы. Если вступим в Хемниц со всеми войсками, командиры гвардии никакого вреда не принесут, а на месте выясним кто во что верует!

Гейбнер, словно не слушая, сказал: — Я не могу оставаться во Фрейберге.

— Да не будьте, господа, столь пессимистичны! Есть великолепные сведения из Бадена, там у Струве и Геккера оживает революция, — шумно вставая, утирая салфеткой усы, проговорил Бакунин.

— Рад, что после бифштекса к тебе вернулось хорошее расположение духа, а то когда ты голоден, свирепее самого черта, — засмеялся Гейбнер и все вместе с ним: Борн, Вагнер, Мартин.

И верно, после обеда Бакунин повеселел. Лакеи сервировали кофе. Мартин, босой, лежал на кушетке. Вагнеру все казалось туманом; утерян Дрезден, разбита революция, что ж теперь, спасаться к Листу в Веймар? Охрипший голос Гейбнера доносился к нему, как из тумана:

— Будем говорить серьезно, наши силы незначительны, люди измучены, дух пал, мы не выдержим и первого сильного боя. Ведь дело идет, господа, уж не о победе, даже не о борьбе, а только о чести. И я хочу поставить прежде всего вопрос, можем ли мы вообще из-за этого в бессмысленном бою проливать кровь людей? Не разумней ли просто распустить отряды?

Бакунин заговорил решительно: — Как член Временного Правительства, Гейбнер, я считаю, мы должны продолжать борьбу до последней капли крови и распускать отряды, бившиеся в Дрездене, ты не имеешь права, ибо ты сам их призвал к оружию. Бои на улицах Дрездена ничем не бессмысленней боев на улицах Хемница, да и неизвестно еще как обернутся общегерманские дела с Баденом и Пфальцем! Раз мы вышли на бой, должны итти до конца, каков бы он ни был!

Гейбнер смотрел куда-то мимо Бакунина в пространство.

— Ну что ж, — проговорил после молчанья, — пожалуй ты прав.

Через полчаса, с женой, Борном и Мартином, Гейбнер выходил из гостинницы «Золотой лев». В номере остались только Вагнер на диване, да Бакунин.

— Ну как, вас не посетили еще вдохновения по поводу наших событий? а? — посмеиваясь, тяжело, сонно, садясь на диван проговорил Бакунин.

— Еще нет, — иронически, раздраженно ответил Вагнер.

Бакунин был сонен, даже не ждал ответа, откинулся темно-кудрявой, большой головой на бархатную спинку дивана. Сон овладевал громадным телом; Бакунин даже чуть сползал, кривилось мощное тело, ища опоры темной кудрявой голове. Она скользнула по спинке дивана и уперлась в плечо Вагнера. Вагнер улыбнулся под свалившейся тяжестью. Прошла минута; Бакунин спал, плыла тишина заснувшего человека. Вагнер тихо высвобождался; тело Бакунина скользнуло вниз, на подушку; но он не проснулся, слышен был легкий храп и дыханье. Вагнер на носках вышел из комнаты; в дверях оглянулся: — Бакунин спал . . .

3

Ночь, первую за все ночи восстанья, спал и Гейбнер на Кениггассе в белом особняке. Когда в сумерках Фрейберга, после смотра войск шел домой, Гейбнер был уже не глава правительства, не известный демократ, борющийся за конституцию; был моложе себя на десяток лет; торопящийся в темноте Гейбнер был почти юношей. Он вспоминал: и темноту сада, и запах мокрой листвы; они идут и все его желанья переполнены любовью; но на душу налегла какая-то боязнь и нет сил в темном саду нарушить это молчанье; только на повороте, его рука коснулась ее руки и белое платье полуупало; Гейбнер не забыл это чувство, словно мгновенного головокруженья и это движенье полуупадающего белого платья.

Находу, Гейбнер потер лицо ладонью, пробормотал, «какая усталость», и завернул в палисадник. В темноте, к окну прижалась Цецилия. Гейбнер думал прободрствовать с ней всю, может быть, последнюю в жизни ночь. Но через полчаса впервые за шесть ночей восстанья он спал, как убитый, и Цецилия сидела возле, плача, и держа его руку в своей руке.

4

Закинув за плечо ружье, Бакунин стоял у подъезда «Золотого льва», окруженный толпой. Казался выходцем с картин древних восстаний, в широком плаще, черной шляпе, под плащем открытые концы рубахи обнажали могучую грудь; за поясом воткнут пистолет. Выспавшись, Бакунин был весел.

— Гейбнер! Послушай, что рассказывает герр Менц-

дорф о Хемнице. Я всерьез начинаю думать, да не предатели ли они?

Подходившему Гейбнеру поклонился, стоявший с Бакуниным человек в очках, бритый, скуластый, с непокрытой головой. — Менцдорф мое имя, — проговорил католический проповедник, — я говорю герру Бакунину, что командиры хемницской гвардии настроены, герр Гейбнер, не в пользу конституции, они выступают под давлением народа, они даже арестовали меня за речь о нарушенной конституции.

— Это мы разберем завтра в Хемнице, герр Менцдорф, — проговорил Гейбнер.

5

Ночью из штаба хемницской гвардии доктор Бекер и майор фон Торклус несколько раз выезжали на площадь, глядеть на окна гостинницы «Голубой ангел», где остановились Гейбнер, Бакунин и Мартин.

Когда Гейбнер потушил свечу в своей комнате, последнее окно в «Голубом ангеле» стало темно; верховые, с майором фон Торклус впереди, выехали из ворот штаба и черная карета, запряженная четвериком сильных коней выкатилась на площадь с ночным грохотом.

Брянча шпорами, саблями, в касках, в темноте, впереди с коренастым майором фон Торклус, жандармы шли к дверям. Дверь гостинницы отпер хозяин, с свечей в руке, в помочах, в подштанниках.

— Где? — негромко проговорил доктор Бекер.

— Восьмой номер, я посвечу.

Вооруженные, темной линией, вбегали в сад, во двор, окружая гостинницу; Гейбнер крепко спал; но в дверь застучали и голос крикнул:

— Донесение герру Гейбнеру!

Босой встал с постели Гейбнер: за дверью слышалось дыханье многих людей; на миг мелькнуло в дыханьях недоброе, но Гейбнер уж распахнул дверь: — в военной руке качнулся фонарь, множество людей направили пистолеты. Коренастый майор держал пистолет в упор в лицо Гейбнера.

— Именем королевского правительства вы арестованы!

Гейбнер видел, как с кровати поднялся полуголый Бакунин.

В одеваньи при многих, вплотную окруживших солдатах было что то унизительное; одни разглядывали Гейбнера, другие монументального русского. Бакунин застегивал брюки, «все на свете оказывается проще, чем думают», пробормотал, надевая сапоги; овладевало полное, даже как бы наглое безразличие.

— Одну минуту, герр вахмистр, — проговорил, — я не оскорблю вас, если закурю от вашего фонаря?

Бакунин зажал в зубах цигаретку, надевая грязный трепаный фрак.

Пять жандармов пошли вперед, за ними Гейбнер, Бакунин, Мартин; лестницу замыкали еще пять, за ними — коренастый майор фон Торклус легкой, военной походкой.

Садясь в карету, выронив цигаретку, Бакунин бормотал: — «черт побери, это не посадка, а погрузка, будьте повежливей, герр вахмистр, мы не к поезду торопимся!»

Темнота. Гейбнер слышал, окружают всадники, говор, кого-то ждали, долетел звонкий, показывающий волнение, голос с седла: — Вперед! — Карета двинулась; спереди и сзади удары подков, звяк сабель, свет факелов. Рысью вымахнула карета из ворот Хемница, под эскортом двадцати жандармов, в факелах, пошла на Альтенбург.

6

Над Дрезденом в ветре празднично вились саксонские королевские флаги. Граф Вальдерзее знал, что сейчас обезумевшие бранденбурцы, через три дня будут снова спокойны; и под флейты и барабаны, под егерский марш пойдут за его седлом грузиться для отправки в Берлин. Но в эти три дня солдаты должны узнать, что такое победа.

Солнце над Дрезденом светило сияюще. Еще не успели убрать мусор и камни разбитых домов у Цвингера, руины театра, остатки баррикад возле Альт-Маркт, унести убитых. Прусские гренадеры врывались в дома; в отеле «Рим», в первом номере, с открытым на улицу балконом лежал в постеле, приехавший лечиться, принц фон Шварцбург-Рудольштадт и лакей подавал ему глазные капли. Пруссаки закололи принца в постели, лакея на ковре. Бурей вымахнули пруссаки на Шумахергассе, тут выбрасывали из окон на мостовую жителей дома № 14, где нашли ору-

жие. Солдатское счастье знают только солдаты; на Фрауенгассе искали лазарет с ранеными, солдат вела толстая, косая, торговка, кормившая повстанцев. У белого, ампирного дома, напрягая горло толстыми жилами, она закричала — Сюда! Выкидывайте зверей! Колите их! — Торговка была тоже в страсти; и только слышался гул вбегавших солдатских сапог и странные, военные ругательства. На Вильдсруфергассе на веранде, за кофе, перекололи туристов-иностранцев, чашки летели в сад, туристов топтали сапогами, хозяин кафе, прижав к себе двух детей, умолял пощадить его, потому что он — немец.

Граф Вальдерзее знал: это пройдет; два дня и гренадеры спокойными телятами пойдут грузиться за его седлом, поедут в родную Пруссию. На третий день офицеры начали уже останавливать солдат, волокших пленных:

— Стой! Это вы должны были делать раньше!

Но все-таки, доктора Гауснера, пруссаки поволокли из Альтштадта в Нейштадт, связав ему на спине руки. Солдатам приятно волочь его, в шляпе, с растрепанными космами, каких не носят солдаты, в очках, которые уже выбили, в воротничке, галстуке. Доктора били прикладами, очки повисли на ухе, запутавшись в волосах. На мосту, пруссакам кричали саксонцы полковника фон Фредерици: — Куда тащите гадину?! Наш транспорт уже пошел к рыбам! — хохотали солдаты весело, счастливо, под ярким солнцем, золотившим надраянные пуговицы, оружие, бляхи. Доктора приволокли к парапету, он еще пытался ухватиться за перила, но солдаты оторвали, подняли и хохотали, когда тело, смешно крутясь, пошло вниз по Эльбе под прусскими и саксонскими выстрелами и смехом.

— Правительство не хочет обременять себя сотнями пленных! — кричит с коня светловолосый оберлейтенант, с эскадроном саксонских драгун ловивший убегающих участников восстанья. Драгуны рубят их в полях, на дорогах. Крепки, словно бычьи, солдатские страсти. Солнце плавится над Дрезденом, синеватые, с белой каймой облака. В эти ночи проститутки устают любить широкоспинных, пьяных пруссаков. По бульвару ходят с ними вобнимку.

Непрохмелевшим солдатам граф Вальдерзее на утренней поверке, с коня читает приказ прусского короля Фридриха Вильгельма IV: — «Сообщение о чудесном поведении

офицеров и гренадер восхищает меня и наполняет глаза мои слезами! Вы командуете действительно одним из восхитительных полков! Я хотел бы расцеловать всех ваших людей! О, если б я мог быть вместе с вами! Передайте офицерам и солдатам мой самый сердечный привет, скажите, что жестокий бой, который они достойно провели именем Пруссии, заключал в себе поворот во всем несчастии теперешней Германии!»

7

Ночь была непроницаема, может быть в разрыв и глядела звезда, ее не видали едущие. Карета неслась от Альтенбурга к Дрездену сумасшедшим аллюром. Хрипели лошади. Окруженный факелами майор фон Торклус быстро облегчался на крупной рыси. Карета окружена конными жандармами; последним, на размашистой кобыле, скакал старый вахмистр.

Отвалившись в угол, Бакунин старался найти место для головы, где б не било. Темнота, факелы, скок коней, топот, отрывистый, дробный, когда собьются лошади. «Повесят на Альтмаркте, перед ратгаузом, как того хотел Пфотенхауер». Но — ничего, пустота, усталость, даже безразличие. Карета музыкой перемахнула, прогрохотав, через мост и снова мягкость полевой дороги. «Немного раньше, немного позже», думал Бакунин, «все одно», но сердце сжалось, вспомнил милую фигуру Адольфа Рейхеля, «где он? в Лейпциге? Наверное знает, что умру. Адольф, подлинный друг . . .» Вспомнил Париж, как играл Рейхель по ночам, напевая целые оперы. Близко, напротив Бакунина зажали спящего Мартина двое жандармов с пистолетами. И снова, то музыка мостов, то мягкой дороги, факелы и около сотни копыт шумят по земле.

8

У нейштадтских, кавалерийских казарм, вокруг кареты, шпалерами стояли солдаты. В улицах разгоняли любопытных. На заборах, домах пестреют прокламации короля: «Саксонцы! Тяжелая опасность угрожала нашему прекрасному отечеству! Люди, частью вредно мыслящие, частью соблазненные под влияньем чужестранных злодеев, старались порвать связь саксонского народа с его князьями, которая живет века.» Из кареты вылезали Бакунин, Гайбнер,

Мартин. Конвоировавшие жандармы, с взведенными пистолетами, повели их сквозь шпалеры вооруженных солдат во двор казарм.

Во внутреннем, замкнутом стенами, дворе стояли два серо-мрачных здания; от одного шел запах пищи, у окон толпились шумевшие, курившие солдаты, это кантина; у второго, немного в глубине, небольшого, просыревшего, пыльные окна были забиты решеткой, у входа часовые.

В коридоре арестного дома зазвенели навстречу кандалы. Меж уходящих солдатских спин Бакунин разглядел полупрофиль и кусок плеча закованного Гейнце. «Да, да, он; плохо ль, хорошо ль дерешься, конец один», усмехнулся Бакунин.

В приемной преступников ждал худой, как некормленная белая лошадь, капитан Нейман. Все трое стояли у стены, под конвоем. Первым солдаты увели Гейбнера; через пять минут в коридоре загремели кандалы. «Гейбнер», подумал Бакунин, взглянул на Мартина, он стоял, усталый, чахоточный. Капитан Нейман дал знак вошедшим солдатам, Мартина увели. Капитан курил, молча, в полоборота стоя к Бакунину. Но вдруг он повернулся и оглядел Бакунина с ног до головы с омерзением, как грязное животное. На губах капитана презрительная усмешка. Прямым, военным шагом подойдя, Нейман взмахнул у самого лица Бакунина кулаком, закричав:

— Я тебе покажу, кровавая собака! Не думай, что тебя привезли сюда для шуток!

Бакунин взглянул в его бешенное, рыбье лицо; вспомнил Пфотенхауера, подумав: «этот капитан, в высоких, словно деревянных сапогах, может быть даже племянник бургомистра».

Вошли солдаты и тюремщик с кандалами.

— Здесь надевать! — крикнул капитан, широко расставив длинные ноги, стоял посреди комнаты.

Бакунин протянул тюремщику правую, большую, с длинными пальцами руку.

— Не ту.

Бакунин протянул левую. Тюремщик наложил кандал и длинную цепь от поручня с необыкновенной быстротой замкнул на выставленной правой ноге.

— Нна! Марш бегом, русская свинья! — захохотал капитан. Бакунин зазвенел кандалами по полутемному кор-

ридору. К дверям подходили арестованные прислушиваясь, Бакунин кашлянул: «может узнают». В конце вонючего, как немытые кишки, корридора, тюремщик открыл небольшую дверь. Пригнувшись, Бакунин шагнул в карцер, с крошечным, как щель, окошечком.

9

Зимний дворец был взволнован, исплакалась царица, когда в кабинете, на походной кровати, в тяжелом припадке, с опухшими ногами, лежал больной император. Николая трясли нервические припадки и были неладности с ногами. При императоре безвыходно находились лейб-медики Арндт, Енохин и Мандт.

Но вот уж второй день, как император встал. Император оправился, даже иногда каламбурил. Шутил с доктором Енохиным, любя его за простоту, здоровую внешность и ясные медицинские знания.

— Ты, Енохин, ведь из духовного званья, а? Следственно должен знать духовное пенье? — смеялся Николай, сидя с доктором в кабинете.

— В молодости певал, ваше величество.

— По носу вижу! Видишь — угадал? От меня не скроешься, а ну-ка, братец, спой что-нибудь, церковную стихиру какую-нибудь, — смеялся Николай, в распахнутом преображенском мундире.

Потупив крупную, рыжую голову, Енохин откашлялся, глядя на улыбавшегося монарха, запел круглым басом:

«Разбойника благоразумного . . .»

Доктор усиливал баритонные звуки, но вдруг с ними слился, слегка подвиравший в мелодии, сильный тенор императора. Возле кабинета переглянулся караул дворцовых кавалергардов, в касках с золотыми орлами. Как статуи.

— А?! Каково, Енохин, хорошо ведь спели?

— Прекрасно, вам бы хоть самому петь, ваше величество.

— Ну да, у меня голос недурен, будь я из духовного звания и попал бы в придворные певчие и пошла б моя карьера! — засмеялся Николай. — Пел бы покамест с голоса не спал, а потом, ну что бы потом, Енохин, а? Ну, выпускают меня, скажем, по порядку, с офицерским чином в почтовое ведомство, тут я, разумеется, стараюсь подбиться к почт-директору. он назначает меня на тепленькое

местечко, например, скажем, почт-экспедитором в Лугу! — Енохин подхватил залившийся смех императора, — а на мою беду, понимаешь, у лужского городничего прехорошенькая дочка и я по уши влюбляюсь, но отец никак не хочет ее за меня выдать и отсюда начинаются мои несчастия. В страсти уговариваю девушку и похищаю ее; об этом доносят по начальству, отнимают любовницу, место, хлеб и отдают под суд. А что тут делать, Енохин, без связей и без протекции?

Царица сама приняла генерал-лейтенанта Дубельта, торопясь, говорила по-французски, — О, да, да, это очень обрадует его. — Они шли из Аван-зала, прошли Концертный зал, спускались к кабинету. Слышался смех императора. На голос царя, Дубельт открыл дверь.

— Дубельт! — закричал, неистово хохоча император, — Дубельт! Вот кстати, Енохин, а? — Дубельт остановился в некоторой нерешительности. — Ну, теперь я спасен! Я нахожу путь к Дубельту, подаю ему просьбу и он высвобождает меня из беды ! ! ! — Смех, смех заколебал кабинет императора.

10

Смеялся и Дубельт. Сквозь смех, Николай сказал:

— По делу, Леонтий Васильевич?

— Так точно, ваше величество.

— Спасибо, Енохин, еще как- нибудь споем.

Император в кресле, молча, улыбался в рыжеватые усы. На лице все ж еще необычайно красивом, хоть и отягченном уже обрюзгшестью, плавала улыбка удавшегося рассказа.

— Говори, — сказал, указывая на стул.

Дубельт, еще не раскрыв портфеля, проговорил:

— Не могу вытерпеть, ваше величество, Бакунин схвачен.

— Что ты? — серьезно проговорил Николай, встал.

— Так точно, экстренная депеша.

Дубельт подал, Николай бегло читал, улыбки ушли. Повернул, глянул на резолюцию Дубельта: «Ах, как я рад! Генерал-лейтенант Дубельт». И проговорил медленно, откладывая депешу на стол. — Это радость, верно радость, давно жду мошенника. Попался-таки, батенька! — Голос стал негнущимся, как на параде. — Снесись с Нессельро-

дом, чтоб не медля написал представленье саксонскому двору о выдаче сего преступника против меня и России. Одновременно пусть пошлет бумагу прусскому королю. Я присовокуплю личное письмо «мечтателю», а Вальдерзее хочу поздравить.

— Слушаюсь, ваше величество.

— Нет, посиди, — задумался Николай, улыбкой изменив точный очерк губ. — Так как же это он, голубчик, а? Говорят, у них всем Дрезденом заворачивал, всё переворотил там, вот так мой прапорщик! Задал немцам перцу! — захохотал Николай. — Мерзавец первостепенный, но отчаянная голова, его надо взять в ежовые рукавицы, Леонтий, да потолковать, как следует. Поляков бунтовал. Ведь эдакую кутерьму поднял и все против меня хотел, прапорщик артиллерии... — презрительно произнес Николай.

— Судя по газетам и донесениям, ваше величество, был у них главнокомандующим, на белом коне разъезжал, уничтожил оперу, людей порасстрелял, неисчислимое количество домов разрушил.

— Ей-Богу? — захохотал Николай, — Вот это я понимаю! Так им и надо, Леонтий, ха-ха-ха! Я знаю Фридриха-Августа, сущая баба, безо всякой воли, они ведь все немецкие короли-то на баб похожи, кроме покойника Фридриха-Вильгельма III-го, а если бы бабами не были, не замутили бы страну так, не довели бы до такого несчастья. Слава Богу, что генералы то хоть нашлись моего прапорщика унять, а то чего б доброго и до гильотины доплясались.

Николай неожиданно встал, потянулся, зевнул, чувствовал себя хорошо. — Ну, это ты меня обрадовал. Незамедлительно снесись с Нессельродом, а я завтра его вызову.

11

Двор кавалерийских казарм вымощен был круглым средневековым булыжником. Окна арестного солдатского дома — во двор. Двор пылен майской, серой пылью. Из казармы беспрерывно несется гул голосов, шум оружия. На расстояньи в двадцать шагов уже полчаса ходили по двору в кандалах — Бакунин, Гейбнер, Рекель, Гейнце.

Звенели по круглым камням кандалы. Левую руку, связанную с правой ногой, держали низко. На прогулке разрешалось курить. Бакунин затягивался потихоньку, про-

гулка была счастьем, почти что свободой. Перекинуться б словом с Рекелем. Его встретил только раз в уборной; Бакунина выводили, вводили Рекеля.

— Ты все время в кандалах? — спросил Рекель по-французски.

— Не снимают, — по-французски ответил.

— Собаки... — пробормотал по-немецки Рекель.

И разошлись. С Бакунина одного, в темноте узкого карцера, не снимали кандалов. Газеты писали о нем, как о звере, о демоне Дрездена, требовали повешения.

Час звенели кандалы по внутреннему двору кавалерийских казарм. Гейбнер, Рекель и Гейнце гуляли уж месяц, Бакунина вывели первый раз, по предписанью врача. Начались головокруженья и от темноты заболели глаза.

12

Граф Орлов поднимался синековровой лестницей III-го отделения, тяжело дыша. Тяжко откинувшись в массивном, сафьяновом кресле кабинета, медленно переводя дыханье, проговорил Дубельту:

— Вчера был у государя по делу о Бакунине. Князь Паскевич предлагает преступника везти в варшавскую цитадель, берет на себя доставку. Вы кого б рекомендовали, Леонтий Васильевич, из варшавских офицеров?

Дубельт сощурил серые глаза до щелей; голубой лентой пролетали в голове офицеры.

— Поручик Распопов, Алексей Федорович.

— Распопов? — макая перо, переспросил Орлов.

— Исполнительный офицер.

— Князь пишет, будет следить за делом лично. Он обратился к Шварценбергу и к саксонскому военному министру Рабенхорсту, у самого-то саксонского короля в голове зайцы прыгают.

Дубельт не любил тестообразного, орловского хохота.

— Своими б руками пытнул мерзавца, — сказал серьезно, заходил, зазвенев по кабинету шпорами. — По последним сведениям у него все польские связи. К тому ж, состоя агентом Ледрю Роллена, был душой всемирного заговора, связывал немцев с французами и славян с немцами. Недаром вцепились немцы.

— Как же-с, говорят, в восстаньи-то в Дрездене скакал на коне, господин прапорщик! Читали, что пишут про

него? Так и называют, единственным демоном разрушенья, нанесшим Саксонии неисчислимые бедствия.

— Мерзавец первостепенный. Если б государь своевременно согласился с моим предложением выкрасть его, многое б выиграли. Написал кучу безбожных в отношении его величества статей, за одно «Воззвание к славянам» виселицы мало, четвертнуть бы негодяя по старинке. А на польском банкете перед кем, подлец, перед иностранцами, перед полячишками, перед французишками в каком свете отечество выставлял?

Проворачивая толстую спину в кресле, Орлов сказал:
— Уверен, возьмем.

Дубельт вышел. Орлов большой рукой писал:

«Его благородию господину поручику Распопову.

Предлагаю немедленно с получением сего отправиться железной дорогой на Краков, взяв с собой в сопровождение одного унтер-офицера и двух рядовых. Вручив прилагаемый при сем пакет на имя генерала-лейтенанта Соболева, приказываю ожидать приемки политического преступника Бакунина, оного заковать со всевозможной осторожностью и доставить в Александровскую цитадель в Варшаве, где сдать под расписку, которую представить мне . . .»

13

В карцере Бакунина забили окно потому, что у Рекеля нашли кусок, исписанной по-французски газеты. В полутемноте, на нарах, Бакунин лежал, чесался, охватывая спину свободной правой рукой: ели вши. Левую — оттянул кандал. За два месяца мысли спутались, то видел, как поведут солдаты на площадь, а там закричат те самые саксонцы, что оплакивали весенние, зацветшие, широкошумные липы Максимилиановской аллеи, порубленные у них Бакуниным. Болела спина, потому что не мог в карцере вытянуться, а если вставал, то даже плечами упирался в потолок. Бакунин лежал на соломенном тюфяке, подворачивая, как мог, громадные ноги. Был одет в чужое, старое платье, рукава и брюки были очень коротки.

Допросы шли ночь день. После четырехчасового допроса, сегодня вели на новый. Двор кавалерийских казарм в сумерках был сер. В сенях главного зданья столкнулись с встречными. В темноте узнал бледного Гейбнера.

— Фон Хок, следователь из Праги.

И разошлись. В зале, который так хорошо знал, за зеленым сукном, спинами к портрету Фридриха-Августа сидели полковник фон Фредерици, генерал фон Шульц, королевский комиссар Швэбэ, производящий допросы главных обвиняемых, аудитор окружного суда Мориц, заседатели уголовной королевской комиссии, протоколист ассесор, офицеры, актуары и новый старик, с синеватой бородой, казавшейся легкой и колеблемой в воздухе. Старик, в глухом сюртуке, черном галстуке, пражский высший чиновник юстиции, гехеймрат фон Хок разглядывал Бакунина из-под золотых очков. Но заговорил не он, а комиссар Швэбэ.

— От имени уголовной королевской комиссии предлагаю вам показывать только правду; на вчерашнем допросе было предъявлено письмо к вам, помеченное «среда вечером», без обозначения месяца и числа, при чем подпись неразборчива. Кем написано это письмо, напишите фамилию этого лица.

— Фамилии лица, — заговорил Бакунин, — написавшего письмо я не назову и не напишу, дабы не замешать его в это дело, — Бакунин говорил твердо; заседатели, офицеры, писаря глядели на него множеством глаз.

Швэбэ пересматривал бумаги; Бакунин стоял вплотную у зеленого стола. Швэбэ приподнялся, протянул Бакунину четыре письма на русском языке, которые Бакунин узнал сразу, увидев еще на столе.

— Кем написаны эти письма? Кто такая госпожа «Полудина» и в каких отношениях вы с нею состояли? Кто такой упомянутый в письме господин Рейхель?

— Все четыре письма написаны мне одной и той же дамой, частью из Брюсселя, частью из Парижа, — проговорил Бакунин, — однако я категорически отказываюсь что-либо сказать об этой даме и даже не скажу является ли подпись на одном из них — мадам Полудина — ее настоящей фамилией. Точно также не скажу, кто другие упомянутые в письме лица и верно ли написаны их фамилии. Я вообще отказываюсь дать какие-либо показания относительно обстоятельств этих лиц и моих отношений с ними.

Заседатели переглянулись; брови комиссара Швэбэ сходились круче, недовольней и голос становился упорней

и злей; когда писцы записали слова Бакунина, Швэбэ оглядывая Бакунина с ног до головы, проговорил:

— Когда вы познакомились с дрезденским музикдиректором Августом Рекелем и какие отношения установились между вами?

— Вскоре после моего прибытия в Дрезден, кажется, в начале марта этого года я познакомился с Рекелем через Виттиха в каком-то общественном месте, кафе или ресторане. Рекель понравился мне и я стал поэтому искать его знакомства. Так как Рекель разделял мои политические взгляды, в частности мое мнение о славянском вопросе, то вскоре после моего знакомства у нас завязались дружеские отношения.

Швэбэ помолчал, выждал, никого из участников восстанья он не допрашивал с таким омерзеньем, как этого русского. Швэбэ был убежден, что русского повесят, но наглый тон ответов и кажущееся хладнокровие выводили Швэбэ из себя.

— Оказывается, — проговорил Швэбэ, — во время восстанья, в ратгаузе вместе с вами находился молодой человек, занимавшийся писанием под вашу диктовку; он носил очки с темными стеклами и боковыми щитками из зеленого шелка? Знаете ли вы этого человека и как его звали?

— Молодого человека в темных очках с зелеными шелковыми боковыми щитками я вообще в ратгаузе не видал и не знаю, что под моим руководством кто-то занимался писанием; в числе моих знакомых нет никого, кто бы носил темные очки.

— Он небольшого роста, худой, можно даже сказать хрупкий блондин с правильными чертами лица и светлыми глазами; глаза у него больны и он носит зеленые очки с шелковыми боковыми щитками.

— Схожего с предъявленными мне приметами человека я не припоминаю.

— Что вы можете сказать о прибывших из Парижа, Гельтмане и Крыжановском? И что вас с ними связывало?

— Крыжановский — поляк из Галиции, а Гельтман из русской Польши, оба польские эмигранты. Я познакомился с ними в Париже. Об их семейных обстоятельствах ничего сообщить не могу; оба они прибыли приблизительно за четырнадцать дней до восстания в Дрезден, с какой

целью мне неизвестно, мне кажется они были проездом, но куда не знаю. Мои отношения с ними сводились к простому знакомству.

Швэбэ резко повернулся, нагнулся к гехеймрату фон Хок, заговорил вполголоса и на все его слова гехеймрат, потряхивая синеватой, шелковистой бородой, тихо твердил «хорошо, прекрасно». Потом Швэбэ обернулся к протоколисту и лицо его приняло прежнее насупленное выражение.

— Герр Гаммер, прочтите подсудимому данные сегодня им показания.

Протоколист, получив от писаря бумагу, зачитал громко, полным голосом: «Сегодня в помещении комиссии допрошен был королевским комиссаром Швэбэ заключенный Михаил Бакунин в присутствии аудитора окружного суда, по предварительном увещании говорить правду, подсудимый, как ниже следует, показал...»

Потом протокол пошел к членам комиссии и наконец ассесор зажег над ним сургуч, залил и надавил большой красной печатью с королевским гербом Саксонии.

Швэбэ что-то сказал гехеймрату фон Хок. Бакунин глядел на старика в глухом сюртуке, черном галстуке. Выпрямясь в кресле, фон Хок, оглядывая из-под очков Бакунина, заговорил тихо:

— По уполномочию австрийского императорского и королевского правительства, в согласии с распоряжением саксонского королевского правительства, я прибыл произвести дознание о вашем участии в преступном против австрийской императорской власти восстании в Праге в день св. Духа, закончившим славянский конгресс, членом которого вы состояли. Не пытайтесь что-либо скрывать, это только ухудшило б ваше положение; прошу вас показывать только правду.

Во время речи гехеймрата фон Хок, офицеры, заседатели, чиновники рассматривали Бакунина, словно пред ними встал новый и неизвестный им человек.

— По имеющимся в распоряженьи императорского министерства юстиции документам, вы являлись одним из организаторов восстанья в Праге. Вы признаете себя в этом виновным?

— Признаю.

— При проезде эрцгерцога Фердинанда, приехавшего умирить возросшие в городе пагубные страсти, из номера гостинницы «Голубая звезда», занятого вами, раздались выстрелы по кавалькаде эрцгерцога. Это стреляли вы?

— Нет.

— Где вы были при проезде эрцгерцога?

— Вероятно в Клементинуме.

— Так, — вея шелковистой бородой сказал фон Хок, — Вы находились в Клементинуме? А известна вам фамилия братьев Страка?

— Известна.

— Укажите, каким образом вы познакомились с Густавом и Адольфом Страка и каков был истинный характер этого знакомства?

— Это знакомство было поверхностное, я ничего о братьях Страка сказать не могу.

— Так-так-так, — тихо проговорил фон Хок, чертя карандашом по полю бумаги. — Опишите наружность Густава Страка.

— Он невысокого роста, других примет указать не могу.

— Знаете ли вы пражского студента Иосифа Фрича?

— Я познакомился во время моего пребывания в Праге, в июне прошлого года с неким Фричем. Этот Фрич, имя которого мне неизвестно и относительно которого я лишь предполагаю, что он был студент, носил славянский национальный костюм и был молодой человек небольшого роста, красивой наружности. Не могу точно указать, где я впервые встретился с Фричем и при каких обстоятельствах.

— Фрич сознался, что в апреле 1848 года он был у вас в Дрездене и сговаривался с вами относительно подготовлявшегося в Праге революционного восстания. А потому изложите правдиво все обстоятельства этого дела.

— Мне ничего неизвестно ни о каком посещении меня Фричем в Дрездене, ни о каком-либо подготовлявшемся в Праге революционном движении, которое будто бы замышлял Фрич.

— Фрич показал, что он приезжал к вам в Дрезден и был здесь несколько дней, неоднократно заходя к вам. По его словам вы проживали на улице, находившейся вблизи каких-то ворот, в районе Фридрихштадта, дом же, в котором вы жили, был окружен садами и находился насупротив

необитаемого дворца, в котором некогда жил Наполеон. Итак, раскажите все обстоятельства дела и изложите содержание ваших тогдашних переговоров с Фричем.

— Хотя Фрич повидимому знает дом, в котором я проживал в Дрездене гораздо лучше чем я сам, все же я должен повторить, что о пребывании Фрича в Дрездене я ничего не знал. Я уж раньше точно указал свою квартиру, но не знаю жил ли в доме, расположенном насупротив, Наполеон.

— Иосиф Фрич показал далее, что придя к вам, он сообщил вам о положении дел в Праге в отношении предполагавшейся там революции, при чем он по его словам, передал вам, что там никаких приготовлений к революции не делается и что вам поэтому нельзя расчитывать на Богемию. По его словам, вы выразили свое неудовольствие по этому поводу, а затем, сговорившись с ним насчет встречи на Троицын день, и обменявшись воспоминаниями относительно отдельных эпизодов, вы перешли к обсуждению вопроса о предполагавшейся революции в Праге. Вам предлагается подтвердить вышеизложенные обстоятельства и сообщить дальнейшее содержание и ход вашего разговора с Фричем. По словам Фрича, вас привело в особенное негодование вступление в пределы Австрии русских войск, ибо вы усматривали в этом признак поступательного хода деспотизма.

— Обо всем этом мне ровно ничего неизвестно, так как Фрича в Дрездене я не видел.

— Названный Иосиф Фрич показал, что у вас было тайное общество и в нем было постановлено, чтобы посвященные были разделены на секции, при том так, что, например, он, Фрич, должен был подобрать себе трех товарищей, из которых лишь один состоял бы в непосредственных с ним сношениях; из этих трех каждый должен был подобрать себе еще трех с соблюдением тех же условий, следующие тройки набирают дальнейшие тройки и т. д. Фрич говорит, что инструкцию по этой организации он также получил от вас. Без оснований Фрич не мог бы сообщить такой подробности. Итак, скажите по этому поводу всю правду.

— Я могу лишь подтвердить полное свое неведение всего этого.

— В отобранном письме к вам Людвига Штура, между прочим говорится: «Тебя с нетерпением ожидают в Загребе». Не скажете ли вы, кто и для какой цели ожидали вас в Загребе? А также, что значит, — прочел гехеймрат фон Хок, близко поднеся письмо к золотым очкам: — «Теперь мы уведомляем тебя, что на-днях мы отправляемся из Вены для известного дела в Карпаты, куда мы ждем тебя, согласно твоему обещанию». Разъясните это место.

— Как из газет известно, в Загребе должно было произойти продолжение пражского конгресса под руководством бана Елачича. Я обещал Штуру приехать в Загреб и вместе с ним отправиться в Карпаты, дабы присутствовать при готовившемся тогда восстаньи словаков против мадьяр. Но так как я к тому времени уже потерял доверие к Елачичу, под водительством которого должно было произойти восстанье, и самое восстанье утратило свою славянскую тенденцию и должно было преследовать скорее русские реакционные интересы, то я и отказался от своего намерения отправиться в Карпаты и принять деятельное участие в тамошнем восстании, которое и обозначено в письме словами «известное дело».

Короткими шагами солдат внес поднос с чашками кофе, хлебом, сыром, маслом. Офицеры, заседатели разбирали чашки, намазывали хлеб маслом, резали сыр. Писаря записывали каллиграфически вопросы фон Хока и ответы Бакунина. По одному движенью фон Хока понимали, когда будет пауза и тогда быстро закидывали перья за уши.

14

В ночь Бакунина разбудили шаги многих ног по коридору, звон ключей, шум отпираемых дверей, говор; шумели и на дворе. «Конец», бормотнул Бакунин и почувствовал, что подрагивает. Шаги замерли. «Все равно», подумал, но не шевелился.

В волчке заметался желтый огонь; Бакунин увидал: на пороге, в свете фонарей капитан Нейман освещен в полкорпуса, в окруженьи солдат; за ним седенький актуар.

— Одевайтесь!

Бакунин одевался с средней скоростью. Нейман стоял спиной. Позвякивая кандалами, в кольце вооруженных солдат, впереди с желтым фонарем, Бакунин пошел по корридорам. Замкнутый внутренний двор горел дымными крас-

ными пятнами факелов. Во дворе, окруженные солдатами, стояли Гейбнер, Рекель, Мартин, Гейнце. Поодаль две кареты. На козлах каждой сидели солдаты. У карет светились зажженными глазами фонари.

— Сажать!

Факелы заколебались, поплыли фантастическими длинными тенями К одной карете повели Бакунина, Гейбнера, Рекеля, сажали на широкое сиденье; напротив сели жандармы с наставленными на преступников пистолетами. Во вторую посадили Гейнце, Мартина и полез седенький актуар.

За окном, как из Хемница на Альтенбург, поплыли факелы и фигуры конных. Полосами освещались то лица товарищей, то жандармы с пистолетами. Карета рысью неслась на юг. Мелькнула чешуя Эльбы, темный дворец, Цвингер, Постпляц, желто-темные улицы. Потом пошли факелы, шум вертящихся колес и топот подков по дороге.

На рассвете карета с эскортом мчалась лесом, вдоль Эльбы. Синими стрелами шел свет из-за обступивших реку гор. На желто-зеленых скалах, как гнезда, прижались домишки. Бакунин глядел на убегающий, стелящийся вид; когда-то шли здесь с Адольфом Рейхелем долиной Эльбы, неся на палке чемодан. Побывали на горах — Бастае и Пфафенштейне, в Кенигштейне, где на скале орлиным гнездом прилипилась еле видная крепость, внизу, в кабачке Амтсхоф Рейхель играл на рояле. Бакунин толкнул локтем Гейбнера, указывая на окно. В желтом освещеньи дымящаяся, утренняя Эльба словно таяла оранжевым паром.

— Кенигштейн, — бормотнул Гейбнер.

Карета, грохоча, въехала в деревню у подножья горы; перемахнула узкий мост. Посторонились, стуча по круглым камням деревянными башмаками, шедшие к колодцу женщины. Карета мчалась к подъему на гору. У подъема стояла рота солдат и, глядя на Эльбу, курили четыре крепостных офицера.

Вылезших окружило каре пехотинцев. Гейбнер, Бакунин, Рекель поняли, стало быть слухи, переданные Рекелю караульным о попытке освободить заключенных — верны. Возле каждого закованного — по два унтер-офицера с пистолетами. Конные, приехавшие с каретой, заперли улицу от любопытных кенигштейнцев. Два офицера впереди каре, два позади, пожилой полковник резко скомандовал.

И каре, позвякивая примкнутыми штыками, тронулось на подъем. Гора шумела елями, соснами, в подымавшемся ветре. Узкой лесной дорогой выложенной каменными плитами, шли крутым подъемом офицеры, солдаты, арестованные. Вправо виднелась голубая лука Эльбы, сжатая гребнем гор, с скалистыми вершинами. Дорога заворачивала все круче. Вместо сосен уж шумели березы, каштаны, буки. Гейбнер уставал больше других. Дважды останавливался, прикладывая руку к сердцу. — Вперед! — Гейбнер трогался. Сколько шли меж гудящих берез, буков, каштанов? В прорыв поределых деревьев взвившись, мелькнула серая скала, на ней стены и башни крепости.

У наружных ворот ждал комендант и три крепостных офицера. Первым шел Рекель. У каменных столбов комендант его остановил. Красивый смуглый брюнет, адъютант, подошел с большим, черным платком и завязал Рекелю глаза, обмотав всю голову, оставив только рот. Бакунин успел увидать лишь выбитое на камне: «Основана курфюрстом саксонским Христианом 1-м в 1586—1591». Тот же офицер окутывал ему голову. С черными платками вместо голов, качаясь неровно и неуверенно, Рекель, Гейбнер, Бакунин шли; трудно было итти по средневековому, высокому подъемному мосту. После первого моста прошли еще по двум, Бакунин наткнулся на плотно окруживших его солдат. Когда скомандовали — стой — и размотали черные платки, их ослепило нестерпимо яркое солнце на скале и шумящие липы. Они стояли во дворе крепости, у белого бюста короля Фридриха-Августа.

15

В 16-оконном цейхгаузе, выстроенном над самым обрывом скалы, Бакунину отвели восточную камеру. Окно в решетке, но не забито, комната светлая, жилая, стол, стул, кровать. Из окна — пестреющий вид на Эльбу, деревни, реки, поля, луга, как рельеф раскрашенной карты.

— Губернатор крепости, генерал-майор фон Бирнбаум посетит вас, — проговорил брюнет-адъютант, завязывавший у ворот головы черным платком, — перед генералом должны становиться во фронт. Поняли?

— Понял, — сказал Бакунин.

Бакунина радовала комната и в окне вид географической карты. Тюремщик отомкнул кандалы, снял. Левая при-

выкшая к несвободе рука, свободы не ощутила. Была так же тяжела. Когда тюремщик замкнул камеру, Бакунин левой рукой несколько раз взмахнул круговращательно. Но это было больно и придерживая правой рукой предплечье, Бакунин подошел к окну, вглядываясь в оборвавшийся со скалы вид деревенек, рек, лесов, лугов, в мглисто-синие очертания далеких богемских гор.

16

Крепостная тишина полновластна, слышны лишь шаги корридорного часового, да его зевота. Время плывет на скале Кенигштейн ветровой, звенящей вечностью и в тишине каждый шаг часового, как гром.

Бакунин считал самым удобным на скале — заняться математикой. Склонясь мощным телом к небольшому столу, чертил тонкие касательные, жирные перпендикуляры, катеты и гипотенузы. Если б вошли солдаты, попросил бы повременить, до того стал спокоен в крепости Кенигштейн.

Только иногда, слыша шаги сменяющихся часовых, — ах, шаги! ах, ощущенье свободы! — хотелось перемахнуть через дымные горы, опять в Богемию. «Что у венгров? Раздавил ли их Паскевич?» Несущееся вихревое, словно даже ощущаемое седым облаком, идет время на орлиной скале. Рельефом карты внизу голубеют нити рек, зеленеют пятна лугов, краснеют крышами неизвестные деревеньки.

17

Гейбнер изменился, как истомленный постом монах, с впалыми глазами. Гейбнер писал самозащиту суду королевских чиновников, допускающему письменные показания, — цитируя «Братьев разбойников», ссылаясь на Тита Ливия, Гуго Гроция, Гронова, Монтескье, юридическим анализом защищая свою борьбу за немецкую конституцию. Отдыхая от самозащиты читал Гюго и Беранже, когда ж ходил по камере, мучило чувство любви к жене; вспоминал последнее их свиданье, как милая, с глазами голубки, Цецилия шла легкой похо́дкой по двору кавалерийских казарм меж лошадей и солдат. Гейбнеру страшна не смерть, страшна неправда немецкого отечества, убивающая Гейбнера, Цецилию и их ребенка. Но чиновники не поймут, что светлоглазый основатель гимнастических союзов, Отто Гейбнер, пишет им честным сердцем хорошего гимнаста:

— «Только любовь к народу и отечеству двинули меня на то, чтобы оборвать жизнь семьи и взять на себя бремя дрезденского кровавого боя».

В сумерках, стоя на табурете, Гейбнер, глядел в решетчатое окно во двор: из палисадника вышел брюнет-адъютант, лейтенант барон Пиляр, самый жестокий офицер крепости. По каменным плитам шел в руке с розой на длинном стебле, то и дело поднося ее к лицу. И Гейбнер вечером писал не самозащиту, а стихотворение Цецилии: — «Розы в тюрьме»:

Leuchtend kam der Lenz gegangen,
Mir nur fremd und unbekannt;
Fenstergitter, Eisenspangen
Trennen mich von Luft und Land
Heut' doch seh' ich Rosen prangen
In den Schlüsselmeisters Hand».

18

В объезд, на гору подымалась коляска, с тремя человеками в сюртуках. Они были разны возрастом и видом, но на лицах лежало что-то общее. Это ехали адвокаты, Глекнер из Фрейберга, Леопольд из Дрездена и розовощекий, пушистый молодой человек в золотых очках, доктор Отто, защитник Бакунина.

Вышедшему к крепостным воротам адъютанту барону Пиляру, адвокаты предъявили пропуска, паспорта. В его сопровожденьи поднялись по подъемному мосту. Адъютант не разговаривал, пристально и часто взглядывая на доктора Отто. Но не только адъютант, коллеги удивлялись, почему семенящий небольшими ножками, доктор Франц Отто изъявил желание защищать, отказавшегося от защиты, иностранца. Против Бакунина выдвинуты тягчайшие обвинения, не только Саксония, Германия, даже заграница требует смерти убийцы. До поимки за его голову газеты объявляли 10 000 талеров.

С наросшим брюшком, светлым ежиком волос на квадратной голове, доктор Франц Отто был даже немного смешон. Но во всем его облике было что-то чрезвычайно спокойное. Почти у самой камеры Бакунина, адъютант проговорил:

— Разрешите удивиться, герр доктор, как, вы, саксонец, беретесь за защиту русского разбойника, вмешавшего-

ся в наши дела, сжегшего театр, дома и причинившего стране такие несчастия?

Доктор Отто чуть улыбнулся и повел толстым плечом. Адъютант вставил ключ в замок камеры.

Бакунин громадный, заросший бородой, решал теорему. Чуть наклонившись вперед, доктор Отто сказал:

— Герр Бакунин? Моя фамилия Отто, я ваш защитник.

Тяжело поднявшись, зашумев стулом, Бакунин проговорил:

— Очень приятно.

Этого нельзя было допускать, доктор Отто протянул преступнику руку, и она скрылась в громадной руке Бакунина.

На стул сел доктор, Бакунин на кровать. Лейтенант прозвонил шпорами по камере и остановился у окна. Лейтенанту было странно слушать перебой распевного саксонского пенья доктора Отто и раскатывающегося баса Бакунина.

— На ваше желанье ближе ознакомиться с побужденьями, толкнувшими меня на участие в дрезденском восстаньи и двинувшими вообще в революцию...

Доктор заносил в записную книжку, а Бакунин словно хотел выговориться, торопился.

— Я, герр доктор, русский и очень люблю мое отечество, но свободу люблю еще больше, а любя свободу и ненавидя деспотизм, я ненавижу и наше русское правительство, которое считаю злейшим врагом свободы, благосостояния и чести России. Простите, я выражаюсь несколько сумбурно и неясно, я изложу вам все это в записке лучше, но я хотел бы только указать, что эта ненависть к русскому деспотизму и борьба с ним послужила исходной точкой моей деятельности в Европе. Передо мной всегда стояла диллема — или деспотическая Россия задавит Европу или свободная Европа с освобожденными и самостоятельными славянами внесет свободу в Россию. Из любви к моему отечеству я не желаю, чтоб русский кнут одержал победу над европейской свободой. Я чистосердечно желаю Германии свободы, единства и истинно-германского могущества. Это и побудило меня принять участие в восстаньи в Дрездене.

Лейтенант презрительно улыбнулся. Доктор Отто записывал.

— Вы знаете сами, доктор, что после разразившихся революций в Париже, Вене, Берлине, все ожидали общей войны освобожденной Европы против России. Я тоже ждал такой войны, но разумеется войны не против русского народа, который я люблю и которого я сын, а против правительства, сидящего на народе. Вот моя idée fixe.

Бакунин оживлялся, с губ лейтенанта сошла усмешка, доктор Отто перебил:

— Простите, против вас выдвигается обвинение, что вы приезжали в герцогство Познанское с намерением организовать убийство русского императора.

Закачав кудрявой головой, Бакунин захохотал, — Милый доктор, я не скрываю ничего, даже говорю много больше, чем следовало, если б я хотел перед судьями спасать свою жизнь. Я этого не хочу и ни на что кроме смерти не надеюсь. Жизнь мне не дорога, поверьте, но когда я узнал какие мещанские бредни распускает обо мне реакционная немецкая и иностранная печать, мне стало, право же, жаль человечество. Верьте, никто в продолженье всей моей жизни не заметил во мне даже малейшей способности к человекоубийству. Во мне нет ни осторожности, ни хладнокровия убийцы. Я гнушаюсь убийством и революция, проповедуемая мною, не имеет ничего общего с убийством.

Отто чуть потупился, улыбнулся, сказал, словно извиняясь:

— Да, герр Бакунин, но революция тоже, конечно, нечто вроде убийства.

— Это открытый бой, доктор!

Лейтенанту становилось скучно, он дважды вытягивал из рейтуз луковицу часов, похлопывал стеком по клееному, тугому голенищу; наконец доктор Отто встал и брюки у него смешно задрались на икрах.

— Герр Бакунин, все, что вы говорили, изложите, пожалуйста, письменно, ваше заявление мной при вашей защите будет представлено суду. Я думаю, что мне разрешат с вами еще свидание, а сейчас я должен итти.

— Очень рад был поговорить, доктор, мое заключение столь сухо, что это большая радость, но если позволите, и простите за бесцеремонность, я бы обратился к вам с просьбой.

— Пожалуйста, — укладывая в портфель бумаги, сказал Отто.

— Заключенье мое тяжко и мне б хотелось украсить его присутствием граций, — засмеялся Бакунин, — не могли б вы одолжить мне, если имеете, а если это будет недорого, может купите, — полное изданье творений Виланда.

— Виланда? — удивленно переспросил Отто.

— Да, я считаю его одним из прекраснейших немецких сочинителей. И тогда уж, для моих занятий, еще географию и статистику Германии и Австрии с картами. А если б вы приложили к этому еще десять сигар! — весело засмеялся Бакунин, — мое заключенье стало бы похоже на занятья в рабочем кабинете.

— Хорошо, пришлю, — улыбнулся, сконфуженно перед лейтенантом за бакунинский смех, Отто.

Лейтенант, распахнул дверь.

— Что? Видали? — сказал он в корридоре. — Это беззастенчивый попрошайка с замашками Марата! Это — разбойник!

Смешной доктор, потупившись, торопился.

19

С утра, на скале Кенигштейн, в древнем зале Магдалинабург солдаты обтирали столы, обмахивали портреты королей пуховыми метелками; взяв за концы трясли на дворе сукно. Сводчатый, древний зал, с открытыми в сад окнами, был чист и мрачен.

В девять, на пороге комендатуры показалась жилистая, статная фигура генерал-майора фон Бирнбаума. Нагоняя, шел адъютант, крепостные офицеры. Все в парадной форме, в касках, в золоте эполет, двинулись к Магдалинабург. По плитам двора звякали шпоры. Молчали, потому что молчал генерал. Генерал выглядел бодро. Морщинистое, розовато-старческой кожи, лицо — матово, словно припудренное, хорошо гармонировало с снегом волос.

У входа в Магдалинабург генерал приостановился.

— Приговор у вас? — повернул соколиную голову к адъютанту. И, чуть кивнув, вошел. За генералом, создавая мелодичную музыку шпор, каменной, средневековой лестницей поднимались офицеры.

Древен, словно вырублен из камня зал, залу триста лет, его даже трудно наполнить ароматом цветов из обступившего сада. Заняв место за длинным столом, покрытым

синим сукном, с свисающими серебряными кистями, губернатор крепости проговорил:

— Барон Пиляр, распорядитесь ввести приговоренных.

20

К кругу Бакунин чертил тонкую касательную. Взглянув на гладкую голову барона, с блестящим пробором посредине, Бакунин подумал, «это смерть», и встал из-за стола.

Вокруг Бакунина стали солдаты. В коридор вывели Гейбнера и Рекеля, выстроили в ряд. Гейбнер улыбнулся Бакунину. На красивого лейтенанта, на тупых солдат в касках, Рекель смотрел с ненавистью: «Еще несколько часов и уйдешь черт знает куда, а эти останутся тут отпирать и запирать».

Шли двором, мимо цветущего сада. «Как это все томительно долго», подумал Бакунин; он шел, громадный, посредине, слева бородатый, очкастый Рекель, справа золотистоволосый Гейбнер идет легкой, гимнастической походкой, с неподвижной рукой. Лейтенант впереди. Вошли в Магдалинабург по средневековой лестнице. В зале на сводчатых стенах: короли, в париках, латах, курфюрсты, гросскурфюрсты.

Как седой сокол, генерал-майор Бирнбаум встал в руках с приговором. Поднялись шумно офицеры гарнизона. Старик зачитал ясно, как приказ по полку: — «По указу его величества короля Саксонии Фридриха-Августа, образованный королевский суд в городе Дрездене — за содеянные преступления против короля и государства . . .» Бакунин рассматривал старика, почему-то на один момент напомнившего ему отца. Гейбнер следил за формулировками приговора, казавшимися нелепыми, «и это немецкий суд», думал с грустью, «какая некультурность!» Рекель ненавистно оглядывал офицеров.

« . . . приговорил», — читал седой фон Бирнбаум, — «бывшего члена саксонской палаты, доктора Отто Леонарда Гейбнера к смертной казни через повешение, с возложением на него расходов по судебному производству; бывшего музикдиректора королевской оперы, Августа Рекеля к смертной казни через повешение с возложением на него расходов по судебному производству; русского отставного прапорщика артиллерии Михаила Бакунина к смертной казни через повешение с возложением на него расходов по

судебному производству. Приговор привести в исполнение в течение 48 часов со времени объявления его вышеназванным государственным преступникам. О приведении в исполнение немедленно донести господину министру внутренних дел саксонского королевского правительства барону фон Бейст».

От свитка королевской бумаги генерал-майор фон Бирнбаум оторвал седое лицо, взглядом узких глаз скользнул, «спокойны-ль?», и обращаясь к Пиляру проговорил:

— Разведите приговоренных по камерам!

Лейтенант двинулся, но его задержали: Бакунин протянул руку Рекелю, Гейбнера Бакунин обнял и поцеловал в небритые щеки.

21

Через час комендант крепости отворил завизжавшую железную дверь в камере Гейбнера. Гейбнер стоял к нему спиной, на табурете, глядел в окно и не обернулся. Комендант окликнул. Гейбнер медленно слез с табурета.

— Герр Гейбнер, вы знаете, как тяжело ваше преступленье перед королем и отечеством. Но король великодушен, вручите судьбу милости его величества.

Гейбнер опустил голову.

— А как мои товарищи? — проговорил Гейбнер тихо.

— Товарищи, герр Гейбнер, — пожал плечами комендант, — какое вам дело, до чужого человека, замешавшегося в саксонские дела и произведшего тягчайшие преступления.

Гейбнер отрицательно покачал головой. — Нет, нет, полковник, — сказал тихо, — если те, с кем я связал судьбу идут на смерть, пойду и я.

Комендант молчал; молчал и Гейбнер.

22

Приходом коменданта Бакунин был недоволен. Комендант, войдя, проговорил грубо, не глядя на Бакунина: — Гейбнер согласен подать прошение только если подадите вы, один он отказывается, стало быть жизнь вашего товарища в ваших руках. Я даю на размышление час, — и комендант вышел.

23

Генерал Дубельт был в непрерывном волненьи, то выезжал к министру наружных дел, графу Нессельроде

в особняк на Морской, то вызывал во дворец государь; семь раз докладывал его величеству. Николай закричал,— Негодяй должен быть доставлен! — И все поняли: баста. Заметался Нессельроде с представлениями саксонскому двору, инструкциями российским посланникам. Дубельт — с инструкциями тайным заграничным агентам. Покоритель Венгрии, фельдмаршал Паскевич писал письма генералам. Сколько колясок скакало, сколько замелькало людей.

Горбоносый вице-канцлер граф Нессельроде, действительный камергер и кавалер ордена Андрея Первозванного, сидя в большом кабинете, не доставал ногами до земли. Происходил по отцу из древнего рода графов Нессельроде-Эресгофен, по матери из еврейского банкирского дома Гонтаров во Франкфурте. Умное лицо кобчика затуманено высоким постом и великими почестями. Видя графский полукорпус, можно было предположить, что ноги длинные, твердые. Граф скрывал неприятность рисунком стола, прикрывавшим полутело канцлера.

Нессельроде сидел в ярко-красном персидском архалуке и туфлях из красного сафьяна с большими помпонами; ждал Дубельта чтоб обсудить исписанный плохим французским языком лист саксонского юстиц-министра, доктора фон Чинского. Щуря выпуклые маслины глаз пробегал письмо:

«Ваше сиятельство! Вы обращались ко мне уже ранее с вопросом, когда закончится следствие начатое по делу о майских беспорядках, в особенности интересуясь всем, касаемым русского Бакунина. По этому поводу могу сообщить вашему сиятельству, что по свидетельству советника суда Швэбэ, комиссара, которому поручено производство устных допросов и протоколиста Гаммера, которму поручено, главным образом, производство следствия, оно могло бы теперь уж быть представлено на утверждение, если б его не задержало вмешательство, находящейся в Дрездене австрийской императорской и королевской следственной комиссии, во главе с господином тайным советником фон Хок. Эта комиссия в интересах аналогичного следствия, производящегося в Праге, произвела обширные расследования и частные опросы обвиняемых, каковые лишь отчасти имеют значение для нашего расследования. Тем не менее г. г. Швэбэ и Гаммер надеются довести следствие в течение этой недели до окончательного допроса, если только изве-

стия ожидаемые австрийским следователем из Праги не вызовут новой отсрочки. Я с своей стороны, ваше сиятельство, как сами можете видеть, могу только тем ускорить производство следствия, что буду понуждать Трибунал к неустанной деятельности и ваше сиятельство можете быть уверены, что я делаю это, так как для меня самого в высшей степени важно, чтобы это дело закончилось, как можно скорее. Впрочем должен засвидетельствовать, что следственный Трибунал работал с неустанной энергией, доказательством чему и служит тот факт, что ему понадобился лишь короткий срок нескольких месяцев, чтобы довести до конца обширное следствие, в котором замешано несколько сот обвиняемых. Примите, ваше сиятельство, уверение в моем глубоком почтении, с которым остаюсь вашего сиятельства покорнейшим слугой.

Юстиц-министр королевского правительства Саксонии,
тайный советник, доктор фон Чинский».

Нессельроде отложил письмо, взял еще раз перечитать депешу императорского посланника при саксонском дворе, фон Шрейдера:

«Ваше сиятельство! Препровождая при сем копию защитной записки Бакунина к своему защитнику доктору Францу Отто, смею уверить, что содержание оной еще раз свидетельствует о путанице в его понятиях и о той непреодолимой ненависти, какую он испытывает по отношению к русскому правительству. Барон фон Бейст сообщил мне, что сейчас же вслед за перерывом саксонского парламента будет вынесен приговор высшего военного суда и что тогда последует выдача Бакунина Австрии. Смею думать, что это будет важно узнать вашему сиятельству и прошу, приняв сказанное бароном Бейстом к сведению, ваших распоряжений и указаний. Должен сказать вашему сиятельству, что я всецело занят этим делом, не пропуская ни одного сведения относительно него, ибо имею честь знать, как заинтересован сим делом его величество. Австрийский посол, граф Куфштейн уверял меня, что Бакунин останется в Праге недолго так как его немедленно отправят в Краков, где он и будет передан следственной комиссии. По всей вероятности там он не будет придерживаться своего метода отрицания.

Покорный слуга вашего сиятельства
фон Шрейдер».

Дубельт вошел шумный, вихревой. Карлик навстречу озабоченно развел маленькими желтыми ладошками: — Садитесь, батюшка, Леонтий Васильевич, дело-то с преступником осложняется, саксонцы с одного боку, австрийцы с другого.

Беря из рук канцлера бумаги, Дубельт негромко проговорил в усы:

— Предлагал своевременно схватить в Европе негодяя, могли б послать верных людей, теперь станется, что вовсе не получим.

Карлик дружески захохотал. — Эх, батюшка, Леонтий Васильевич, что значит различные-то департаменты! И методы разны. Покойник Бенкендорф — как две капли воды! Тоже был любитель решительных мер, ну а мы-с думаем по иному, надобно лишь координировать действия. Срочную депешу шлю Медему в Вену, чтоб вступил в переговоры, можно будет на эрцгерцогиню Софию оказать влияние, Паскевич отписал Шварценбергу лично, да и граф Кабога обещал фельдмаршалу.

Дубельт пробегал письма умными, серыми глазами. Через час шестерик вороных рысаков рванулся с Морской, понесся к Зимнему. Нессельроде и Дубельт ехали с докладом к царю.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Виландовский «Оберон» не читался; Бакунин повернул кудрявую голову к решетчатому окну, откуда сноп света играл переливающейся в нем пылью. Развернутая ширина плечей; руки длинные, сильные, с белыми пальцами, вытянуты на столе. Русские, сине-степные глаза глядели сквозь решетку. Что-то от запертого в клетку великана было в бакунинской грандиозной фигуре.

Только от двух лет заключенья сошел со щек смуглый румянец. Глядя за решетку, где клубилась, рябилась саксонская, игрушечная даль, думал о «Прямухине», о сестре Татьяне, не было сейчас человека более дорогого и нужного сердцу; вздохнул, оторвавшись. Походил по камере, потом, раздвинув на столе, лежавшие горкой, зелено-кожаные томики Виланда, сел за письмо к другу Рейхелю:

«Дорогой друг! Я спокоен и здоров, читаю сейчас

Виланда и занимаюсь математикой. Математика особенно хорошее средство отвлечения, а ты знаешь, у меня всегда был большой талант к отвлеченности; теперь же я volens nolens переведен в абстрактное положение. С тех пор как меня перевезли в Кенигштейн, которым много лет тому назад, мы так любовались снаружи, — я чувствую себя совсем хорошо, конечно, насколько это возможно в тюрьме.

Что каасется моей здешней жизни, то она очень проста и может быть изображена в немногих словах, — у меня очень чистая, теплая, уютная комната, много света и я вижу в окно кусок неба. В 7 утра я встаю и пью кофе, потом сажусь за стол и до 12 занимаюсь математикой. В 12 мне приносят еду; после обеда я бросаюсь на кровать и читаю Виланда или же просматриваю какую-нибудь математическую книгу. В 2 за мной приходят на прогулку; тут на меня надевают цепь, вероятно, чтобы я не убежал, что впрочем и без того невозможно, так как я гуляю между двумя штыками и бежать из Кенигштейна немыслимо. Как бы то ни было, но украшенный сими предметами роскоши, я гуляю и издали любуюсь красотами Саксонской Швейцарии. Хотя у меня нет часов, но время я знаю довольно точно, башенные часы отмечают здесь каждые четверть часа, а в половине 10-го раздается меланхолическая труба, что значит надо тушить свет и ложиться спать.

Если я не прямо весел, то и несчастным себя вовсе не чувствую. Теперь мой внутренний мир — книга за семью печатями, о нем я не смею и не хочу говорить. Я совершенно спокоен и готов ко всему. Еще не знаю, что со мной сделают: я готов, как снова вступить в жизнь, так и расстаться с нею. Теперь я ничто, то есть только думающее, а значит не живущее существо, ибо как это недавно узнала Германия, между думать и существовать все же огромная разница.

Вот и все, друг, что я сейчас могу тебе сказать; когда мне приходится плохо, я вспоминаю свое любимое изречение: «перед вечностью все ничто», а затем . . . точка . . .

Чтобы хорошенько оценить свободу надо посидеть в тюрьме.

Сейчас я обращаюсь к тебе с большой просьбой: денег, денег, дорогой мой! Я живу щедротами г-на Отто, я должен это тебе сказать, чтобы ты понял всю щекотливость моего положения. Разве не бессмыслица — клиент, опла-

чиваемый своим адвокатом? Где и как найдешь ты деньги — твое дело, но найти деньги ты должен.

Будь здоров старый, дорогой друг!

Твой Бакунин.»

Ночью не спалось; круженье сердца, тошнота. Память выбрасывала осколки мыслей, воспоминаний, лиц, то Казерн де Турнон, то славянская слава, тогдашний пражский святодуховский день, то жаркие бои Дрездена. Все прошло, как вчерашняя ночь и далеко! Смешной доктор Отто, с задравшейся на икре штаной, вагнеровская симфония в сожженном королевском театре, любовь Полудинской... Бакунин слышал, как перекликаются на кенигштейнской скале часовые, чувствовал, что проваливается в темноту бессознанья.

Над скалой неслась ночь, темная, высокая, прижатая к небу. До того ярки и выпуклы были звезды, и ясны в желтолуньи и золоте соседние горы Лилиенштейн и Пфафенштейн. Эльба дрожит в лунной мгле серебряной ниткой. Часовые идут медленно по стене над скалистым обрывом. Летят по скалам их голоса, а снизу подымается медленный бой часов из древней деревни.

По двору, от комендатуры, на носках, под луной пробежал адъютант, барон Пиляр, крикнув:

— Готово?

Голос ответил: — Готово, ваше сиятельство!

Бакунин спал, как ребенок, закинув за голову руки. У наружных ворот встала телега, затянутая парусиной. Спешившиеся возле коней кавалеристы, в лунной темноте, курили и кто-то напевал, выбивая трубку об оглоблю.

К камере Бакунина подошли тюремщик с связкой ключей и барон Пиляр, в плаще, походной форме, с двумя пистолетами за поясом, позвякивая саблей. Бакунин не услыхал, как отперли, только когда солдат осветил его уродливым фонарем в лицо, Бакунин вскочил и Пиляр увидел, как Бакунин побледнел и эта внезапная бледность была приятна Пиляру.

— Одевайтесь! — сказал он.

Бакунин спустил ноги, громадный, в свете фонарей, взял с табурета кальсоны, натягивал на ноги. Солдат, выпустив ружье, стукнул прикладом об пол. Тюремщик зевнул, закрываясь ладонью, дожидался скорей запереть каме-

ру, итти спать. Бакунин застегивал брюки, уж овладел собой, старался только понять: куда?

— Готовы?

— Книги...

— Останутся здесь, — сказал Пиляр, кладя руку на зелененькие томики Виланда, и махнул тюремщику: — Кандалы!

Бакунин знал уже, вытянул левую руку, правую ногу и, окруженный солдатами, двинулся. Впереди танцующим шагом пошел лейтенант барон Пиляр, придерживая ножны.

Звезды, темень, в саду тишина; прошли подъемными мостами. Верховые на конях показались огненными от света факелов. Бакунина втащили в телегу, звенели кандалы. Пиляр осадил метнувшегося, присевшего коня, прокричал на всю ночь:

— В случае неповиновения стрелять без предупрежденья! В случае приближенья к телеге постороннего — стрелять! Вперед! — скомандовал, дав шенкеля прыгнувшему коню.

Топот коней, факелы, черно-лунные тени леса, два наведенных пистолета, седенький актуар в смешном капюшоне. Вдоль Эльбы кони пошли резвой рысью. С телегой, облегчаясь на рыси, поровнялся Пиляр.

— В Австрию, господин лейтенант? — спросил в темноте Бакунин.

— Австрия вам не Саксония! — крикнул с седла Пиляр, обгоняя телегу.

2

«Да, да, — думал Бакунин, — конечно, та ж самая дорога, где два года назад, но в обратном направлении ехал с поляками, после разбитого Виндишгрецом святодуховского восстанья.» Жандарм устал от бессонной ночи, издает носом свист. Сизоватое лицо осоловело. Дважды менялся конвой. Сейчас нежным, ранним утром скакали австрийские жандармы. Смуглый мадьяр на сером коне несся порывистой, широкой рысью. Конь бочил, норовил подхватить в карьер, обскакать телегу. Мадьяр играл, сам с собой, с конем, горяча его и осаживая.

Вместо барона Пиляра, на поджарой рыжей кобыле, с белыми отметинами на ногах, ехал офицер его императорского, королевского и апостолического величества, на

пограничной приемке с любопытством рассматривавший Бакунина.

Кавалькада подымала пыль, выезжая на изволок, с изволока в раннем утре, вот она — древнее славянское сердце, золотая Прага! Также блещет острыми башнями Градчин, раскинулся по голубой Молдаве город, захолонуло бакунинское сердце на изволоке, отсюда разливом должна была итти, звоня набатом, беспощадная революция.

На выбоине дрогнул сонный жандарм, подбросил срезанную на грудь голову, проснувшись, взглянул сердито. Под парусиной, в щель смотрит Бакунин, обогнали мирным шагом едущий крестьянский воз, в широкополой шляпе жует краюху хлеба мужик-чех. Полным аллюром кавалькада вымчала в гору. Телега зашумела по камням мостовой, иногда глухо вмахивая, катясь по пыли. Бакунин понимал, везут в самое сердце Славии, в древний славянский кремль — Градчин.

3

Корридором градчинской крепости шел сумрачный майор и аудитор императорского и королевского суда в Градчине, Иосиф Франц, человек крепкий, шатен, в мундире. За майором поспевал молоденький лейтенант и три солдата письмоводителя. Впереди — тюремщик с фонарем. Над Прагой стлалась полная ночь, люди спали, спала веселая, веснущатая блондинка, жена майора Франца, спали его дети.

Пражское восстанье выдвинуло майора. Составлял суду в Градчине многотомный доклад, допрашивал заключенных, захваченных участников восстанья, в крепостях Ольмюц, Смечна, в Праге. Лейпцигских теологов Густава и Адольфа Страка, литератора Арнольда, редактора «Новины Славянской Липы» Карла Сабину, купца Карла Прейса, Иосифа Фрича, жестяных дел мастера Иосифа Менцля, доктора Карла Сладковского, патера Андрея Красного, мельника Франца Мушку, многих передопросил майор. Это была кропотливая работа, хоть все заключенные и винились полностью перед майором и майору становилось ясно: — показания сходятся в центр, в непонятную фигуру неистового демагога и разрушителя, схваченного саксонцами русского, Михаила Бакунина.

«Какая сырость, какая сырость», бормотал Бакунин, лежа на тюфяке, на боку, не спал, чувствуя сосущую тошноту от голода и скверный вкус моркови во рту. На шум неурочно отпираемой двери Бакунин приподнялся. Свет фонарей сильно осветил камеру и темноватого, входящего майора Франца. Майор Франц сказал сухо:

— Я майор и аудитор императорского и королевского суда в Градчине, потрудитесь подняться, давать показания.

Писаря внесли два стола, стулья, камера осветилась фонарями. Майор Франц сел за стол, разложив бумаги. Рядом — молоденький, как мальчик, лейтенант. За другим столом писаря, заложили гусиные перья за уши. Стоявшего перед столом Бакунина с пристальным испугом, почти с ужасом, разглядывал аквамариновыми, детскими глазами мальчик-лейтенант князь Вреде. Бакунин стоял, опустив голову.

Майор читал, никуда не торопясь; да и куда торопиться?

«На допросе, произведенном гехеймратом фон Хок в Дрездене вы показали, что родились в России, в Торжке Тверской губернии, в 1814 году, вероисповедания христианского, греческой церкви, холосты, 14-летним мальчиком поступили в артиллерийскую школу в Санкт-Петербурге, где оставались до 1831 года, выйдя оттуда прапорщиком артиллерии, и служили таковым 2 года, затем вышли в отставку, посвятив себя литературной деятельности. В 1840 году вы отправились из России в Берлин . . .»

Майор читал о Берлине, Швейцарии, Бельгии, Франции, снова о Берлине, Познани, о Бреславле. Писаря, как зайцы, сидели тихо, с заложенными за уши перьями. Князь Вреде раглядывал большие, в скверных, разорванных башмаках, ноги Бакунина.

Наконец, оторвавшись от бумаги, майор Франц произнес:

— Вы показали, что в мае 1848 года отправились в Прагу на «Славянский конгресс», членом которого и состояли, числясь по польской секции.

Писаря необычайно быстро вынули из-за ушей перья, под каллиграфически, заранее выведенным заглавием, записали. В фонаре что-то треснуло в пламени, пламя заколебалось. Майор Франц поглядел на пламя.

— Как можете характеризовать вашу деятельность на славянском конгрессе? Чего вы добивались?

Бакунин заговорил медленным басом; чувствовал голод, слабость, усталость.

— Добивался на славянском конгрессе соглашения и единения славян, мое личное стремление клонилось к объединению австрийских славян с поляками для освобождения Польши, как первой ближайшей цели, а посредством ее и освобожденья России.

Вреде, вертя бледными пальцами пуговицу узкогрудого мундира, взглянул в лицо Бакунина и почему-то улыбнулся, хотя и не слышал сказанного. Писарь, в руку, приглушенно кашлянул.

— Признаете-ли, что ваша деятельность была направлена к распаду австрийской монархии?

— Да, — сказал Бакунин, — ибо по моим убеждениям австрийская монархия несовместима с понятием человеческой свободы.

— Какую форму государственной жизни предполагали вы проводить, после желаемого вами распада австрийской монархии?

— Желал самостоятельной организации всех народностей, населяющих Австрию. Форма этой организации, именно государственное устройство отдельных народностей должно было зависеть от потребностей и их собственного желанья и не могло быть предрешено заранее.

Майор выжидал пока запишут писцы. И лейтенантик сделал вид, что записал что-то, черкнув последние слова преступника и перечеркнув их дважды фамилией «князь Вреде, князь Вреде».

— Вы искали в Лейпциге знакомства с молодыми людьми славянского происхождения и знакомили их с людьми немецкого происхожденья? Зачем вы это делали?

— С целью положить начало связи между славянами и немецкой демократией.

Писцы писали борзо.

— С каким порученьем вы послали в Прагу Густава Страка в конце января 1849 года?

— В конце января? — Бакунин приложил свободную от кандала руку ко лбу — да, в конце января я отправил Густава Страка в Прагу, дав ему поручение к редактору листка «Новины Славянской Липы» Карлу Сабине. Письмо

являлось дальнейшим развитием изложенных в «Воззвании к славянам» идей и содержало призыв к соединенью с демократией Германии и с мадьярами для совместных действий против реакции.

— Вы получили ответ от редактора Карла Сабины? — мутноватые глаза майора Франца не отрывались от лица Бакунина.

— Нет, ответа не получил, только узнал от Густава Страка, что Сабина не считает возможным передать мое письмо «Славянской липе».

— Вы посылали в это же время письмо пивовару Францу Ванку? Что это за письмо?

— Я просил у Ванка денег.

— Лично для себя или на цели агитации?

— Мне нужны были деньги и лично, ибо я нуждался, и для агитации.

— Стало быть Франц Ванк знал, что дает вам деньги на агитацию?

— Нет, я просил для себя, он мог предположить, что я употреблю часть денег для агитации в России, но, что я употреблю их для агитации в Богемии, этого он не знал.

— Но вы употребили эти деньги на агитацию в Богемии?

— Не знаю, как употребил бы, если б получил, Ванк денег мне не прислал и не прислал даже ответа на мое письмо.

— А не обсуждали ли вы с Арнольдом в то же время, в Лейпциге, организацию демократической пропаганды в «Славянской липе»?

— Обсуждал, Арнольд обещал мне оказать помощь и связи, но это было только на словах, он ничего не исполнил.

— Вы говорили Арнольду, что вашим желаньем и задачей является, чтоб вспыхнувшая германская революция перебросилась в Богемию?

— Вероятно. По крайней мере действовал в этом направлении.

— Приехав в Прагу, вы жили тайно сначала у Прейса, потом у жестяных дел мастера Менцля в Каролинентале, а потом у заготовщика красок Пауля?

— Да.

— С кем вы имели на этих квартирах свидания?

— На этот вопрос я отказываюсь отвечать.

— Ваши квартирохозяева словоохотливей вас, — майор Франц, заложив руки в карманы брюк и вытянув ноги, в первый раз улыбнулся, — вы имели свиданья на квартире заготовщика красок Пауля с Францем Гавличеком, бывшим депутатом рейхстага и с секретарем магистрата Руппертом.

— Может быть.

— Не помните ли вы одного собранья на квартире Прейса, на котором присутствовали вы, Сабина, Арнольд, Рупперт, Гавличек и несколько членов «Сворности», где вы выступали перед собраньем с большой программной речью?

— Помню.

— Что вы говорили?

— То же, что и в других. — Лейтенантику казалось, что Бакунин устает, Бакунин несколько раз провел рукой по вспотевшему холодноватой испариной лбу. — На этом собраньи, — щурясь, сказал Бакунин, — я говорил в трех направлениях, во-первых хотел узнать, чего желает каждый в отдельности из присутствующих, во-вторых хотел убедить всех присутствующих насколько необходимо отложить одностороннюю чешскую политику и присоединиться к общему движенью европейской демократии, в частности, к немцам, мадьярам и полякам. Наконец говорил с целью убедить присутствующих в необходимости оставить чистую теорию и воспользоваться затруднениями австрийского правительства, чтобы выступить практически.

— Что значит «практически»?

— То есть, организовать восстанье.

— Вооруженное?

— Вооруженное.

— И что же вам помешало?

— Что помешало? — Бакунин, улыбнувшись, скривил губы, проговорил громко, — во-первых, герр майор, я заметил, что все эти бывшие на собрании люди склонны очень много говорить и хвастать и никуда не годятся для практических действий. Они все держали себя нерешительно, боязливо и мне говорили, что народ в Богемии в настоящую минуту недостаточно подготовлен для подобных выступлений. Мне казалось, что с одной стороны у присут-

ствовавших ко мне есть доверие, как к личности, но в то же время мне не удастся привлечь их на свою сторону.

— Так, — туманно сказал майор, видел, что показания верны. «Скрывает мало», думал, сжав на животе руки. Краем глаза увидал: лейтенант Вреде еле сдерживает зевоту, опасливо взглянул на майора, закрыв рот тонкой рукой.

— Но ведь Арнольд поддерживал ваши планы?

— Арнольд на все мои уговоры отвечал одно и то же: «ах, если б у меня не было подагры!»

И вдруг в ночной градчинской камере прыснул со смеха лейтенант князь Вреде. И майор Франц еле сдержал выплывшую на губы улыбку.

4

Долго сидел в Градчине Бакунин без прогулок и света. Ослаб, зарос грязной бородой, от прежнего Бакунина осталась тень. Чувствовал тошно разливающуюся слабость, непрестанный шум в ушах, головные боли разламывали череп.

Ночью вывели во двор Градчина, в кандалах, и снова посадили в черную большую карету. Бакунин не спрашивал: куда? Поехали, кажется, на восток, но темна карета и темно славянское сердце, золотая Прага. Тут куют не по-саксонски, Бакунин не мог двинуть ни рукой, ни ногой, скованный в железа. Много офицеров в походном снаряжении провожали ночами Бакунина. Но только этот, жгучий мадьяр, с тонкой проволокой усов и горячими, словно пьяными, глазами, тут же в карете заряжал пистолет.

— Неужто думаете, ротмистр, что убегу? — сказал Бакунин, устало усмехаясь, и со звоном тряхнул руками и ногами.

Надевая пистон, ротмистр проговорил с горловым, горячим акцентом.

— Правительство имело слухи, вас могут отбить, в таком случае приказано всадить вам пулю, — и венгр засмеялся в темноте.

Полузвучно сыпался топот подков. Молчали в карете. Гривы коней вились в огне, вероятно, дул навстречу ветер.

На перепряжке с трудом выволокли скованного Бакунина за нуждой. Штаны расстегивал вахмистр и смеялся вместе с окружившими Бакунина драгунами.

5

Дунайская крепость Ольмюц, на Мораве, под Краковом, глуше и древнее Кенигштейна. Стены толсты, казематы глубоки. Сколько сгнило тут преступников, позабыл двадцать лет командующий крепостью, губернатор, генерал от кавалерии барон Бем. Бем стар, сед, суров.

Бакунина генерал приказал в «глухой» камере приковать к стене. Два года пустовала «глухая», освещавшаяся светом в четыре просверленных сквозь стену дыры. Сидевшим там казалось, что на воле всегда солнце.

— Сюда! — крикнул, злобнея, тюремщик, привлекая к стене. Бакунин думал, снимут кандалы, он ляжет на тюфяк. Тюремщик толкнул на пол, Бакунин ощутил сырую слизь и холод камней; по громыхнувшим, ввинченным в камни кольцам догадался, что сейчас прикуют, как приковывали здесь триста лет назад.

Ножные и ручные кандалы тюремщик снял. В сидячем положеньи, за руку и за ногу приковали цепями к двум кольцам. Можно даже лечь, но не встанешь, да и куда вставать? Темнота, сырость, в четыре просверленных на волю дыры ползет узкими стрелами свет. «О, проклятая страна, то-то я их так ненавидел», пробормотал Бакунин, звеня тяжестью цепей.

6

На границе российской империи, командированный, по приказу царя, фельдмаршалом князем Варшавским графом Паскевичем Эриванским, крепкосшитый жандармский поручик Распопов занял хату в богатом селе Михаловицах с палисадником, цветущим белыми, розовыми, желтыми мальвами.

По деревенской пыльной улице клохтали, летали куры; подымала, словно взрывала, пыль столбом мужичья телега. Поручик жил с двенадцатью жандармами больше месяца и делать было решительно нечего, как только выпить да закусить.

Грузновато звякая шпорами, после обеда, ходил Распопов по хате, повеселев, напевая в желтые от курева концы усов:

«Солдат стелит епанчу»

Услыхав за стеной, в сенях, голос денщика, поручик

остановился, прислушиваясь. Слышно было, денщик читает окружившим его солдатам по складам: «... милорд, лежа в постели, находился о красоте королевской в различных размышлениях, но вдруг, увидя отворившуюся дверь и идущую к себе даму, очень удивился; а как она подошла к его кровати и мог он ее узнать, то говорил он ей: — ах! ваше высочество, пристойно ли это, зачем вы в такое необыкновенное время притти сюда изволили? К тебе, любезный милорд, отвечала она ему, и в самое лучшее время для доказательства непреодолимой моей любви. О, боже! сказал милорд, какое это похабство» — Солдаты заржали в десять голосов.

— Васька! — гаркнул Распопов со смехом.

Влетел вертлявый денщик. — Чего там читаешь? — ухмыляясь, пробормотал Распопов и сел на скамью, подав толстую ногу в лакированном ботфорте. Денщик повернулся задом, левой ногой Распопов уперся в квадратную задницу, ухватившегося за правый ботфорт денщика и, что есть мочи, толкнул отлетевшего Ваську, вместе с слетевшим сапогом. Так же отлетел Васька с левым и выбежал в сени.

Покрехтывая, сняв мундир, Распопов лег на лавку под образами, в голубых рейтузах и снеговой белизны рубахе. Прикрылся дорожным пледом. Долетал голос читавшего денщика: «а меня оставь в покое и, оборотясь на другую сторону, милорд, окутался в одеяло ....» Распопов засыпал, видел во сне себя мальчиком, играющим с братом на лугу в лапту и до тех пор смотрел сон, пока экстренный ординарец князя Паскевича не поднял. Встрепанному поручику привезли длиннейшее предписанье фельдмаршала. Протирая глаза, ероша волосы, Распопов с трудом соображал в чем тут дело: «... многочисленные соучастники сего преступника заграницей и даже в России намерены освободить его, а в случае неудачи отравить, ибо опасаются, чтобы он при допросе не открыл, если будет передан русскому правительству, преступные замыслы, как своих соотечественников, так и заграничных злоумышленников, а потому предписываю немедленно по принятии важного государственного преступника: 1) наложить на него ручные и ножные железа, 2) усилить охрану с 12 до 20 человек нижних чинов, выбранных вами, 3) везти преступника никому не открывая его имени, без останову, пересаживая

на заранее высланные на все почтовые станции подставы, 4) запрещаю произносить, хотя бы слово, кому из везущих его военных чинов, а также встречным штатским, 3) везти безостановочно прямым трактом Варшава—Петербург . . .»

Распопов оторвался, толстым пальцем почесал переносицу, внутренне пустил соленое, многоэтажное ругательство, относившееся к тем, кто назначил его в эту командировку.

7

В этот день вместо котелка супа Бакунину дали большой кусок мяса и кружку настоящего кофе. Было двенадцать часов дня, но крепостной зал был темен и потому освещен канделябрами и люстрами. У Бакунина зарябило в глазах, он еле устоял. За сине-суконным столом увидал генерала Бема, захватившего подрагивающей рукой плотный, седой подусник; посреди множества незнакомых крепостных офицеров, в парадной форме, увидал и невыразительного майора Франца.

За офицерами, как в партере театра, ряды зала были заполнены солдатами по чинам, фельдфебели, капралы, ефрейторы, рядовые. Было много блеску и света. Покручивая ус, старик Бем произнес гудко и отрывисто:

— Заседание военного суда, созванного по предписанию господина генерал-майора императорской и королевской армии Эдлер фон Клейнберга, ad latus des Landes Militärkomandanten, — объявляю открытым.

Рыжий, некрасивый, широкоплечий полковник, председатель суда, Шульц фон Штернвальд встал, отставил стул, чтоб не мешал, заговорил ясно:

— Подсудимый! Имеете ли вы какие-нибудь обоснованные возражения против кого-либо из собравшихся судей?

— Нет, не имею, — в тишине проговорил Бакунин.

Шульц фон Штернвальд повернулся к заполнившим зал офицерам и солдатам, заговорил сипловато, отрывисто о военном долге, присяге и чести. Кончив, повернулся к замершему в высоком, срединном кресле генералу Бем.

— Прикажете приводить к присяге?

Поочереди выстроились в соседнюю комнату полковники, ротные командиры, лейтенанты, фельдфебели, капралы, ефрейторы, рядовые. Когда снова заняли места,

Шульц фон Штернвальд обратился к майору Францу и майор поднялся.

— Показания подсудимого Михаила Бакунина, обвиняемого в государственной измене... — зачитал майор и аудитор Франц. Бакунин переминался с ноги на ногу. Когда майор Франц сел, полковник Шульц фон Штернвальд проговорил:

— Подсудимый! Подтверждаете ли прочитанные вам показания и не желаете ли что-нибудь к ним добавить?

Бакунин чуть выставил вперед правую ногу, хотелось сказать также отчетливо, как этот неизвестный полковник, но голос раздался, глухой, срывающийся.

— Данные мною показания подтверждаю и добавить ничего к ним не могу, но вынужден повторить свой протест, заявленный вначале допроса, против вторичного вынесения приговора по моему делу. Делаю это формально, знаю, что протест недействителен или вернее останется здесь без последствий.

«Нагл», пожевав подусник, подумал генерал Бем. Председатель суда ждал окончания скрипа перьев писарей, потом, просмотрев запись, быстро звеня шпорами, подошел к Бакунину.

— Подпишите, — указал белым, морщенным пальцем внизу бумаги. Непривычные к свободе, бакунинские ноги споткнулись. Стоя у стола, подписал и отошел снова к ефрейторам с саблями наголо.

— Уведите подсудимого, — сказал председатель.

В открывшихся дверях Бакунина встретили еще четверо солдат. Но в камере не приковывали, он первый раз ходил по «глухой».

8

В зале на заросшем волосом лице Бакунина снова остановились карие глаза генерала барона Бем. За окнами качалась бузина, было слышно, как на деревья налетал солнечный ветер. Полковник Шульц фон Штернвальд зачитал, закашлялся, поправив что-то пальцем за воротом мундира:

«Протокол военного суда в полном составе, созванного по предписанию его превосходительства, господина генерал-майора императорской и королевской армии Иоганна Эдлер фон Клейнберга, военного коменданта в Богемии, по соглашению с его высокопревосходительством господи-

ном генералом от кавалерии и губернатором крепости в Ольмюце, бароном Бем, над подсудимым Михаилом Бакуниным, родившемся в России, в Торжке, Тверской губернии, в 1814 году, холостой, вероисповедания православного. Расследованием, произведенным военно-судебным порядком, вследствие объявленного от 10 мая сего года в Праге и окрестностях осадного положения, на основании законом установленных фактов и признания подсудимого, удовлетворяющего всем требованиям закона, Михаил Бакунин уличен в государственной измене против Австрийской империи и за это преступление...»

В мертвящей тишине никто не скрипнул, не кашлянул, Бакунин пропускал приговор, не дослушивая, но вот началось главное:

«Рядовые приговорили:

Подсудимый Михаил Бакунин за государственную измену подлежит смертной казни через повешение и обязан вместе с другими лицами, признанными виновными, солидарно возместить уголовному фонду издержки по настоящему следствию.

Иоганн Тишлер рядовой. — Антон Гоблер рядовой.

«Немцы», подумал Бакунин.

«Ефрейторы приговорили:

Подсудимый Михаил Бакунин за государственную измену подлежит смертной казни через повешение и обязан вместе с другими лицами, признанными виновными, солидарно возместить уголовному фонду издержки по настоящему следствию.

Винцент Клука ефрейтор — Демут Венделин ефрейтор

«Чехи», подумал Бакунин, его охватывало отяжеляющее безразличие, даже словно не слышал голоса председателя суда:

«Капралы приговорили:

Подсудимый Михаил Бакунин за государственную измену подлежит смертной казни через повешение и обязан вместе с другими лицами, признанными виновными, солидарно возместить уголовному фонду издержки по настоящему следствию.

Теодор Ноппес капрал. — Людвиг Никсцайер капрал.

Фельдфебели приговорили:

Подсудимый Михаил Бакунин за государственную измену подлежит смертной казни через повешение и обязан вместе с другими лицами, признанными виновными, солидарно возместить уголовному фонду издержки по настоящему следствию.

Иоганн Шмидт фельдфебель. Эдуард Рейниш фельдфебель

Бакунин переминался с ноги на ногу.

«Господа поручики приговорили:

Подсудимый Михаил Бакунин за государственную измену подлежит смертной казни через повешение и обязан вместе с другими лицами, признанными виновными, солидарно возместить уголовному фонду издержки по настоящему следствию.

Оттомар граф Меравиглия поручик Генрих Росси поручик

Господа ротные командиры приговорили:

Подсудимый Михаил Бакунин за государственную измену подлежит смертной казни через повешение и обязан вместе с другими лицами, признанными виновными, солидарно возместить уголовному фонду издержки по настоящему следствию.

Владислав фон Бранни ротный командир. Альфред фон Дюрие ротный командир.

Господин полковник и председатель приговорил:

Подсудимый Михаил Бакунин за государственную измену подлежит смертной казни через повешение и обязан вместе с другими лицами, признанными виновными, солидарно возместить уголовному фонду издержки по настоящему следствию.

Франц Шульц фон Штернвальд,
полковник, в качестве председателя.

Нижеподписавшийся приговорил:

Подсудимый Михаил Бакунин за государственную измену подлежит смертной казни через повешение и обязан вместе с другими лицами, признанными виновными, солидарно возместить уголовному фонду издержки по настоящему следствию.

Иосиф Франц,
майор и аудитор императорского и королевского военного суда в Градчине».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Все, император Франц-Иосиф, эрцгерцогиня София, фельдмаршал князь Шварценберг, фельдмаршал князь Виндишгрец, военный начальник Богемии, генерал-майор Клейнберг, губернатор крепости Ольмюц, генерал от кавалерии барон Бем, председатель суда, полковник Шульц фон Штернвальд и даже майор и аудитор военного суда в Градчине Франц, знали кто требует к себе государственного преступника Михаила Бакунина.

Государственного преступника против империи и королевства Австрии, против королевства Саксонии, отставного, беглого прапорщика российской 3-й артиллерийской бригады требовал к себе император и самодержец всероссийский, он, Николай I-й ждал Бакунина, приказав в ручных и ножных железах везти в свою столицу.

2

Ясное сознание скорой смерти как бы опустошило сердце и голову Бакунина. Все уже слилось в бесцветную линию времени, не вспоминалось, не ощущалось. Вот он на прямухинском балконе. И померкло. Как бред: Прямухино. Представил себе, отомкнут от стены, раскуют и он свободными ногами встанет на табуретку на дворе под виселицей.

Бакунин хотел потрогать шею рукой, не дотянулся, не пустила цепь. И все ж сердце захолонуло, завертелось, ударилось и упало глубоко в тело, когда увидал на пороге лейтенанта графа Меравиглия, безжизненного и вялого, с вооруженными солдатами.

Бакунина подняли. В свете фонарей, прямыми шагами, пригнув под косяком голову, вошел полковник Шульц фон Штернвальд. В глухих сводах еще отрывистей стали выкрики полковника: — «Приговор в судебном порядке утвержден, в порядке помилования смертная казнь заменена пожизненным, тяжким тюремным заключением!»

Бакунину показалось, камера танцует и фонари у солдат уплывают вдаль, наплыла темнота и, когда тюремщик запер замками, железом кованую дверь, первый раз за всё заключение Бакунин, падая на тюфяк, застонал.

3

О, и адова темнота! Ни зги. Тиха дунайская крепость Ольмюц, у ворот зевает наружный часовой и летит зевота далеко в ночь.

В крепостном каретнике зашумели конюха, вывезли тюремную карету. Вывели из денников подрагивающих, пофыркивающих, прожевывающих овес коней. Один заржал пронзительно в тишине крепости и солдат ударил его наотмашь кулаком по губам.

Невыспавшийся лейтенант Меравиглия шел по сереющим, темнеющим, росным плитам двора. На небе остались бледнозеленые звезды, но мало. В факелах, с зажженными фонарями виднелась карета, помахивали в огнях лошади головами и хвостами. Бакунина вели к карете скованного. Лейтенант граф Меравиглия полез за Бакуниным в карету.

— Далеко едем? — тихо спросил Бакунин.

— В Прагу, — позевывая, проговорил Меравиглия.

Карета рысью перемахнула мост через Дунай. Бакунин разглядел зевавшее в темноте, худое, даже милое лицо графа Меравиглия.

— Было б любезно, если б вы дали мне папиросу.

Граф Меравиглия протянул массивный портсигар в монограммах, открывая. Папиросу было неудобно брать рукой, скованной с ногой. Чувствовалось, что карета едет в гору.

По камням загрохотали колеса, мелькнули огни. Карета встала и дверцу раскрыл солдат.

Лейтенант вылез, Бакунина вытащили в круг вооруженных солдат, он увидал: рельсы, шлагбаум и темную станцию. Но от небольшой станции они уходили вдоль рельс, в сторону и подошли к тюремному вагону с зарешетчатыми окнами. Бакунину помогли влезть. На лавках размещался конвой. Пахший портянками солдат повесил на гвоздь фонарь, солдаты переговаривались о пустяках. Гдето совсем под боком шипел паровоз, толкнул и потащил. Кричали в ночи незнакомые люди, ругались совсем близко у вагона, потом паровоз засвистел, вагон поплыл; блеснул свет больших газовых фонарей и, пристукивая на стыке рельс, поезд пошел мерным ходом в темноте.

— Ложись, спи, — бормотнул широконосый солдат.

«Спросить бы», подумал Бакунин, «да не знает наверное».

— Доложи лейтенанту, что хочу есть,

Солдат вышел. Но не вывели, как думал Бакунин. Принесли колбасы и хлеба, Бакунин съел нехотя, лег, думал все, как бы выйти, взглянуть на путь, но, спустив с лавки закованную, большую руку, засыпал. Не проснулся даже, когда безжизненный, бледный граф Меравиглия взял его за плечо. В окошечки вагона шел яркий, солнечный свет.

— Вставайте, — проговорил Меравиглия.

Бакунин поднялся шумно, попросил вывести в уборную, его повели, скованного за руку и за ногу. Потом помогли слезть со ступенек. Перед Бакуниным был залитый ярким утренним солнцем дебаркадер и на нем строем стояли двадцать вооруженных голубых жандармов; крепкосшитый поручик прохаживался впереди. Бакунин приостановился: ведь это ж не Прага? И широкое, голубое небо и волнующиеся, кривые березы в сережках и круглые рожи? В один миг понял, где он и кому выдан.

4

На дебаркадере кольцом вкруг Бакунина стояли еще австрийцы. Лейтенант граф Меравиглия, под козырек, рапортовал мягким, венским говором тучному, красному Распопову. Поручик также, под козырек, держал руку в белой перчатке. За Распоповым голубой лентой вытянулись в две шеренги двадцать скуластых, усатых, лихих русских жандармов.

Бакунин, стоя в кругу австрийцев, улыбнулся. Воспоминаньям ли? Встрече ли с родиной, с русскими веселыми скулами? Распопов грузно скомандовал: — Напра-во! Шагом марш! — и русские жандармы быстрым поворотом пошли, обступая Бакунина. Под конвоем, впереди с поручиком, Бакунина повели через вокзал: вокзал оцеплен. У двери отдельной комнаты на часах унтер-офицер.

Распопов пробегал у стола мутным, плохо соображавшим глазом немецкие бумаги. Граф Меравиглия сидел рядом. Распопов расписался, по-русски расчеркнувшись. Жандармы оглядывали Бакунина любопытно, беззлобно, таким он и должен быть, преступник против царя и России: косая сажень в плечах, в вышину верстовой столб, зарос волосом,

с скованной рукой и ногой, как Емельян Пугачев, Степан Разин.

— Das ist allles, — вставая, сказал граф Меравиглия.

— Sehr angenehm.

— Мне приказано взять наши кандалы, — проговорил граф Меравиглия.

— Сейчас перекуют, — сказал Распопов.

Молодой, легкий ефрейтор побежал за кузнецом. С черной, цыганской бородой, кузнец, приземистый и коренастый мужик вошел с железами, с порога поклонился. С Бакунина, покрёхтывая, снял австрийские кандалы; звякая ими, Распопов передал их графу Меравиглия, еще раз взявшему под козырек, прощаясь с поручиком.

А когда он вышел, Бакунина раздели донага, как приказал фельдмаршал князь Паскевич, обыскали одежду, потом одели в свое: арестантская шапка набекрень, на длинных волосах, и серый, с бубновым тузом, халат.

— Ковать! — крикнул Распопов.

Сидя на стуле Бакунин выставил большие ноги, в рваных котах. Солдаты глядели с любопытством.

— Эх, ребята, на свою сторону, знать, умирать-то пришел! — проговорил Бакунин.

— Не разговаривать! — крикнул Распопов, ступив к Бакунину.

Бакунин взглянул в опухшее, красноватое лицо поручика. «Пьет видно, шибко», подумал. Кузнец ударял молотком, заковывал в железа ноги. Но все, чего боялся, стало вдруг нестрашным. Даже легче, пожалуй, умереть вместо австрийцев с родными этими мордами, у себя, под русскими ветрами.

— Жжешь, братец! — вскрикнул Бакунин.

— Потерпишь, — бормотнул кузнец, в глаза взглянул жестким, цыганским глазом. Закреплял заклепки, надел наручни, встал, переведя дыхание, сказал:

— Готово, ваше высокоблагородие.

Железные уборы больно ударили узкими звеньями цепи по ногам. В станционном, немощеном дворе шарахнулись с клохтом куры, разлетясь по палисаднику, перелетая городьбу. У подъезда ждала тройка свиду плохоньких, длинногривых степняков, в бубенцах. У белой, расписной дуги позвякивали колокола, когда от оводов коренник мотал мохнатой головой. Поверх черной, блесткой, ловкой

поддевки подпоясанный слинялым, красным кушаком ямщик, усмехнувшись, когда втаскивали Бакунина в карету, почесался, качнул головой.

Но это даже не карета, скорей, как курятник с зарешетчатыми окнами. Влезая рядом с Бакуниным, Распопов дышал телятиной и вином. Жандармы влетали в седла, осаживая, рвали губы запылившим по двору коням. Распопов высунулся из дверцы:

— Трогай! — крикнул.

Подоткнувшись, разбирая ременные возжи, ямщик зыкнул — ах, переах! — что-то дикое и запорол витым кнутом. Замершие, мохнатые степняки рванулись, как птицы под выстрелом. И с станционного двора в миг скрылась, улетела карета. Остался только столб пыли, станционный смотритель на крыльце, да подоткнутая девка, в ситцевом переднике, и панёве, выглянула из кухни, разинув рот.

5

Головой отвечали станционные смотрители, если не во время подстава ждала б эту тройку. От стана до стана безостановочно скачут по бокам двадцать верховых с ружьями, саблями, пистолетами. Ох, ох и ямщики в России царя Николая! Много троечной езды знавал Бакунин, а такой не видал. Смотрители выбирали лучших русских ямщиков, да отчаянных, азиатских коней. Несся по России курятник птицей. Это не битые мелким камушком шоссе, да расчищенные европейские леса, это — Россия, Азия, дичь, мощь, разлетается на выбоинах, поворотах карета, крякает Распопов, «все кишки растеряешь». Орет, гикает ямщик: — По всем по трем, коренной не тронь! — знает, подлец, что получит на водку за царский лёт, за сумасшедчинку и несут буланые, мохнатые кони, тряся, звеня дугой, гремя бубенцами, хоть загнать приказано, а домчать в срок до подставы. Под водкой орет ямщик, в гору навынос мчат, звонят ошейниками мохрявые, запотелые степняки, вьются пыльные, потные гривы от Горелого кабака до Ухорского яму. Царь ждет карету, прут ее в Петербург.

Эх, если б посмотреть в окошко на темносиние, десять лет невиданные, русские, стонущие под ветром леса, на березы, обступившие большой трахт. Увидать, как прыгает по корням карета, когда мчат ее медноствольным, красным бором. Вырваться б глазу в голубую бескрайность, от ко-

торой зарежет на смерть глаз: поля ржи ушли черт знает куда и замер на голубом горизонте колышащийся ее океан. Крутится пыль из-под колес. Летит карета; в сумерках длинные тени лошадей видны на дороге: заводят в оглобли свежих, перепрягают. Звонят, гудут в ушах валдайские колокольцы. «Может и вправду умирать-то на своей стороне легче? Пусть убьют, сошлют на каторгу», думал Бакунин, «только б не мешок алексеевского равелина, куда опускает людей император заживо в каменный погреб».

6

В Большом Фельдмаршалском зале прохаживался император, только что приехав с Марсова поля, с парада. Голубая лента, темнозеленый мундир с красно-золотыми обшлагами, клапаны, золото воротника, прохаживался один, задумчив, поседелый. Шаги императора ясны. Остановясь в амбразуре, глядел на Неву водяным, задумчивым взглядом: волновали происки Англии в Турции и дела на Кавказе, волновали польские заговоры, от Бакунина хотел знать о поляках.

Состоящий при особе его величества генерал Яков Гилленшмидт доложил о приезде Дубельта. Пробормотав в усы сам не зная кому угрозы, Николай пересек зал и спускался по лестнице мимо караулов. В кабинете, вошедшему Дубельту, не дал сказать, шагнув проговорил:

— Ну?

— Привезли, ваше величество, заготовил рапорт, да не выдержал, — чуть улыбнулся Дубельт, — сам приехал.

— Дай, — сказал Николай, улыбнулся туманно, непонятно.

Николай сел за карельский стол, опершись локтем на том «Свода Законов Российской Империи». Пробегал рапорт Дубельта: — «Честь имею донести вашему величеству, что 11-го мая в полчетвертого часа пополудни государственный преступник Михаил Бакунин, закованный в ручные и ножные железа, провезен через Красное село в Санкт-Петербургскую крепость и заключен в Алексеевский равелин, в арестантский покой под № 5».

Рука Николая в темнозеленом, бутылочном рукаве с золотом шитья, протянулась, для порядку написал: «Наконец-то! Держать строго. С допросом обождать».

7

Родной каземат, да, полно, лучше ль он чужестранного? Покой № 5 темен, на австрийский манер; не больше квадратной сажени, вдоль стен нары, лежа на которых Бакунин упирался ногами в стену; у изголовья стол, на нем кружка воды; у ног в закрывающемся ящике жестяное ведро и жестяной таз; для спанья дали кусок войлока обшитого дерюгой. На север, во внутренний двор, окно забито снаружи в три четверти; сыро, холодно и никто не входит в покой вот уж с месяц. Только мыши пробегают в полутемноте.

Продержат год, двадцать лет, жизнь, в мертвой тишине. Бакунина расковали, может ходить. Так ходил из угла в угол, когда в ночь, внезапно заскрипев, открылась дверь. На пороге покоя № 5, в керосиновом свете тюремного корридора, в мундире, стоял генерал. Толст, мясист, мог не называть себя, Бакунин знал по портретам заместителя покойника Бенкендорфа, генерала графа Алексея Федоровича Орлова.

Орлов смотрел в полутемноту на Бакунина. Бакунин остановился у стены. Генерал крикнул из покоя:

— Дай фонарь!

Часовой подал графу фонарь.

— Запри, — сказал Орлов и с фонарем в руке вошел в покой, прошел к столу, поставил фонарь на стол, камера причудливо осветилась. Грузно опускаясь на табуретку, Орлов указал Бакунину на нары. Оглядывая оплывшим, а в молодости свежим и красивым, взглядом Бакунина, граф Орлов проговорил с расстановом:

— Государь прислал меня к вам сказать: скажи ему, чтобы написал мне всё, как духовный сын пишет духовному отцу.

В свете желтого фонаря прошло молчание. Бакунин сидел на нарах без движенья.

— Хотите писать? — медленно сказал Орлов и улыбнулся отвисшей губой.

Бакунин молчал.

— Так что ж, — повторил Орлов, улыбаясь явственней, — как я должен передать его величеству, хотите чистосердечно покаяться или нет?

Бакунин поднял большую, заросшую голову на Орлова.

— Ваше сиятельство, — проговорил тихо, — я не знаю, чего хочет от меня государь? — Голос глухой. Орлов видел: преступник в волненьи, даже в необычайном волненьи. Граф пробарабанил по дубовому столу полными пальцами. Помолчал. И вдруг беззвучно рассмеялся.

— Мы о вас лучшего мнения; государь хочет, чтоб вы написали ему полную и откровенную исповедь всех ваших преступлений и помыслов против него.

Полутемный, в тенях от фонаря, Бакунин молчал.

— Чем исповедь будет полней и искренней, — продолжал Орлов — чем она будет более похожа на исповедь сына своему духовному отцу, тем сильнее это отразится на вашей судьбе, которая всецело зависит от милости государя.

— Я, граф, судьбы не боюсь, — проговорил по-французски Бакунин и усмехнулся горько, взглянув на Орлова.

— Знаю что видали виды, — ухмыльнулся Орлов, — все ж полагаю, что ваш долг покаяться перед его величеством, сердце государя и его великодушие, прощающее даже злейших противу него преступников, вы знаете.

— Ваше сиятельство, — сказал Бакунин снова по-французски, — повеление государя . . .

— Это не повеление.

— Понимаю, — оборвался Бакунин и потупился; потом вдруг, встав с нар, сказал, — ваше сиятельство, дайте мне срок обдумать.

Орлов оставался сидеть.

— Какой? — сказал, не глядя на Бакунина.

— Двадцать четыре часа.

Орлов поднялся, взял со стола фонарь, пошел к двери, проговорил: — Хорошо. — Бакунин остановил Орлова.

— У меня к вам просьба, граф.

Орлов повернулся и фонарь осветил Бакунина.

— Я просил бы вашего распоряжения, — показал на окно Бакунин, — чтоб отбили и разрешили открывать хотя б часа на два в сутки, от темноты болят глаза и от плохого воздуха становится дурно. Я болен, ваше сиятельство . . .

Орлов сощурил брови и смял углы губ.

— На два часа? — пробормотал словно про себя, — доложу государю. — И двинулся.

Покой № 5 крепко заперли.

8

Утром у стен Алексеевского равелина, у покоя № 5 отбивали от окна доски, стало светлей. Корридорный часовой слышал: в покое № 5 заключенный все ходит.

«Вырваться, вырваться, вымахнуть», бормотал внутренно, лихорадочно, поспешно Бакунин, быстро поворачиваясь в узкой камере. «Только б не резиньироваться, не унизиться, не упасть в подлеца». Откинул большой рукой с квадратного лба космы волос, остановился у посветлевшего, отбитого окна, глядел в решетчатый квадрат петербургского неба. «Черновиков не оставишь, написанного не замараешь, бумагу пронумеруют. Знаю Николая, ему надо писать безоглядно, нараспашку, а то пожизненный каземат».

Бакунин встал на заскрипевший под тяжестью табурет. Свет на дворе, хоть серый, хоть и петербургский, а свет . . .

День и ночь корридорный часовой слышал: заключенный в покое № 5 ходит. «Погребут, сгноят заживо», шептал, бормотал Бакунин, возбужденный, большой, грязнобородый, в арестантском халате . . .

9

«ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО! ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ!

Когда меня везли из Австрии в Россию, зная строгость русских законов, зная ВАШУ непреоборимую ненависть ко всему, что только похоже на непослушанье, не говоря уж о явном бунте противу воли ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, зная также всю тяжесть моих преступлений, которых не имел ни надежды, ни даже намерения утаить или умалить перед судом, я сказал себе, что мне остается только одно: *терпеть до конца* и просил у Бога силы для того, чтоб выпить достойно и без подлой слабости горькую чашу мною же самим уготованную. Я знал, что лишенный дворянства тому назад несколько лет приговором Правительствующего Сената и Указом ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, я мог быть законно подвержен телесному наказанию и ожидая худшего, надеялся только на одну смерть, как на скорую избавительницу от всех мук и от всех испытаний.

Не могу выразить, ГОСУДАРЬ, как я был поражен, глубоко тронут благородным, человеческим снисходительным обхожденьем, встретившим меня при самом моем въезде на русскую границу! Я ожидал другой встречи. Что я увидел, услышал, все что испытал в продолжение целой дороги от Царства Польского до Петропавловской крепости было так противно моим боязненным ожиданьям, стояло в таком противуречьи со всем тем, что я сам по слухам и думал, и говорил, и писал о жестокости Русского Правительства, что я, в первый раз усумнившись в истине прежних понятий, спросил себя с изумленьем: не клеветал ли я? Двухмесячное пребывание в Петропавловской крепости окончательно убедило меня в совершенной неосновательности многих старых предубеждений.

Не подумайте, впрочем, ГОСУДАРЬ, чтобы я, поощрясь таковым человеколюбивым обхожденьем, возымел какую-нибудь ложную или суетную надежду. Я очень хорошо понимаю, что строгость законов не исключает человеколюбья, точно также как и обратно, что человеколюбье не исключает строгого исполненья законов. Я знаю сколь велики мои преступленья и, потеряв право надеяться, ничего не надеюсь и сказать ли ВАМ правду, ГОСУДАРЬ, так постарел и отяжелел душой в последние годы, что даже почти ничего не желаю.

Граф Орлов объявил мне от имени ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, что ВЫ желаете, ГОСУДАРЬ, чтоб я ВАМ написал полную исповедь всех своих прегрешений. ГОСУДАРЬ! Я не заслужил такой милости и краснею, вспомнив все, что я дерзал говорить и писать о неумолимой строгости ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА.

Как же я буду писать? Что скажу я страшному РУССКОМУ ЦАРЮ, грозному Блюстителю и Ревнителю законов? Исповедь моя ВАМ, как моему государю, заключалась бы в следующих немногих словах: ГОСУДАРЬ! я кругом виноват перед вашим ИМПЕРАТОРСКИМ ВЕЛИЧЕСТВОМ и перед законами Отечества. ВЫ знаете мои преступленья и то, что ВАМ известно достаточно для осужденья меня по законам на тягчайшую казнь, существующую в России. Я был в явном бунте противу ВАС, ГОСУДАРЬ, и против ВАШЕГО правительства, дерзал противустоять ВАМ, как враг, писал, говорил, возмущал умы

против ВАС где и сколько мог. Чего же более? Велите судить и казнить меня, ГОСУДАРЬ; и суд ВАШ и казнь ВАША будут законны и справедливы. Что ж более мог бы я написать своему ГОСУДАРЮ?

Но граф Орлов сказал мне от ИМЕНИ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА слово, которое потрясло меня до глубины души и переворотило все сердце мое: «Пишите, сказал он мне, пишите к ГОСУДАРЮ, как бы вы говорили с своим духовным Отцом».

Да, ГОСУДАРЬ, буду исповедываться ВАМ, как духовному Отцу, от которого человек ожидает не здесь, но для другого мира прощенья и прошу Бога, чтоб он мне внушил слова простые, искренние, сердечные, без ухищренья и лести, достойные одним словом найти доступ к сердцу ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА.

Молю ВАС только о двух вещах, ГОСУДАРЬ! Во-первых не сомневайтесь в истине слов моих, клянусь ВАМ, что никакая ложь, ниже тысячная часть лжи не вытечет из пера моего. А во-вторых молю ВАС, ГОСУДАРЬ, не требуйте от меня, чтоб я вам исповедывал чужие грехи. Ведь на духу никто не открывает грехи других, только свои. Из совершенного кораблекрушения, постигшего меня, я спас только одно благо: честь и сознанье, что я для своего спасенья или для облегченья своей участи нигде, ни в Саксонии, ни в Австрии, не был предателем. Противное же сознанье, что я изменил чьей-нибудь доверенности или даже перенес слово, сказанное при мне по неосторожности, было бы для меня мучительней самой пытки. И в ВАШИХ собственных глазах, ГОСУДАРЬ, я хочу быть лучше преступником, заслуживающим жесточайшей казни, чем подлецом . . .»

Бакунин снял с пера прилипшую волосинку, но не продолжал писать, а задумался; взглянул на свой почерк и почерк не понравился, «пишу как кошка», подумал. Темноголубые глаза уставились в пространство, в одну пространственную точку. Бородатый, разбитый, грустный сидел Бакунин; потом медленно отведя голову к рукописи, написал с красной строки:

«— Итак я начну свою Исповедь.

Для того, чтоб она была совершенна, я должен сказать несколько слов о своей первой молодости . . .» Но снова шумно встал, заходил по камере. Тучей, клубами бились

в черепе, в сердце, заполняли грудь воспоминанья, ощущенья, откидывал ненужное, искал главное — *тон* — для Николая, Дубельта, Орлова. Хорошо знал партнеров, знал, что саксонцы и австрийцы передали материалы. «Поляки», внутренно бормотал Бакунин, «поляки», знал чего хочет, чего добивается Николай: чтоб отдал всю опору, всю мечту славянской революции в Польше, в России, в мире.

Мелким, слепленным, скорей женским почерком, не вязавшимся с мужественной рукой, писал Бакунин, отбрасывая нумерованные Дубельтом листы, о молодости, Берлине, о Вейтлинге, Швейцарии, Гервеге, Париже, благородных увриерах, упомянул о друге Рейхеле, мельком описал поляков, обругал болтуном графа Ледуховского, изругал немцев, рассмеялся и от души, и для Николая, над европейской демократией, не утаил ничего, что без того знали Орлов и царь, описал восстанье в Дрездене, баррикады, свое желанье зажечь мировую, всесокрушающую революцию с богемским началом, много писал, перечеркивая лишь так, чтоб могли разобрать Орлов и Дубельт.

Дважды заходил сухонький комендант крепости Набоков, улучшил пищу, увеличил порции, разрешил сигары. Хитрый пес посмеивался, уходя из покоя № 5: «многие мил-голубчики становились тут шелковыми!»

10

Светло в покое № 5. Волнуясь, Бакунин курил без счету, отхлебывал с лимоном чай. То казалось, доступ в сердце Николая приоткрывается, то мучили сомнения. «Лучше смерть, каторга, Сибирь, палочные удары, лишь бы не в каземате сойти с ума. Эх, воля, воля!» — уронил волосатую голову на руки, на рукопись и долго так сидел Бакунин. «Пусть разрешат сестре Татьяне иль брату Павлу приехать, через них свяжусь, дам им понять, как хлопотать и действовать.»

Поднявшись, шумно ходил по каземату, мысли бурны, мучительны, невыносимы. И снова расправил лист, записал почерком невязавшимся с мощной, большой рукой:

«Таким образом окончилась жизнь моя, пустая, бесполезная и преступная; и мне остается только благодарить Бога, что он остановил меня еще во время на широкой дороге ко всем преступлениям. Исповедь моя кончена, ГОСУДАРЬ! Она облегчила мою душу. Я старался сложить в

нее все грехи и не позабыть ничего существенного; если ж что позабыл так ненарочно. Все же, что в показаньях, обвиненьях, доносах против меня будет противно мною здесь сказанному решительно ложно или ошибочно или клеветливо. Теперь же обращаюсь к своему ГОСУДАРЮ и, припадая к стопам ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, молю ВАС: — ГОСУДАРЬ! я преступник великий и не заслуживающий помилованья! Я это знаю и если б мне была суждена смертная казнь, я принял бы ее как наказанье достойное, принял бы почти с радостью, она избавила бы меня от существованья несносного и нестерпимого. Но граф Орлов сказал мне от ИМЕНИ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, что смертная казнь не существует в России. Молю же ВАС, ГОСУДАРЬ! если по законам возможно и если просьба преступника может тронуть сердце ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, ГОСУДАРЬ, не велите мне гнить в вечном крепостном заключеньи! Не наказывайте меня за немецкие грехи немецким наказанием. Пусть каторжная работа самая тяжкая будет моим жребием, я приму ее с благодарностью, как милость; чем тяжелее работа, тем легче я в ней позабудусь! В уединенном же заключеньи все помнишь и помнишь без пользы; и мысль и память становятся невыразимым мученьем и живет долго, живет против воли и никогда не умирая, всякий день умирает в бездействии и в тоске. Нигде не было мне так хорошо, ни в крепости Кенигштейн, ни в Австрии, как здесь, в Петропавловской крепости и, дай Бог всякому свободному человеку найти такого доброго, такого человеколюбивого начальника, какого я нашел здесь к своему величайшему счастью! И несмотря на то, если б мне дали выбрать, мне кажется, что я вечному заключенью в крепости предпочел бы не только смерть, но даже телесное наказание.

Другая же просьба, ГОСУДАРЬ! Позвольте мне один и в последний раз увидеться и проститься с семейством; если не со всем, то по крайней мере с старым отцом, с матерью и с одною любимой сестрою, про которую я даже не знаю, жива ли она?

Окажите мне сии две величайшие милости, ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ! и я благословлю провиденье, освободившее меня из рук немцев для того, чтоб

предать меня в отеческие руки ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА».

Бакунин перечитал, оторвался, как кончить, подписать, не знал. Густые характерно разлетевшиеся над голубыми глазами брови сдвинуты, глаза задумчивы, изломаны, темны. Не тот уж красавец-скиф Бакунин, изъездили, истомили, надорвали трехлетние казематы. Поймав наконец желаемое, Бакунин подписал:

«Потеряв право называть себя верноподданным ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, подписываюсь от искреннего сердца

кающийся грешник
Михаил Бакунин».

11

Ефрейтор Алексей Ерошин, каллиграф-писарь III-го отделения, с «Исповеди» списывал две красивых копии. Одну для фельдмаршала князя Паскевича, другую для графа Орлова. Оригинал Бакунина в четыре часа пополудни, повез государю в Зимний дворец сам шеф жандармов.

Николай был занят, принимал посла в Турции, Меншикова, в присутствии военного министра князя Чернышева и вице-канцлера Нессельроде. Обсуждался вопрос отношений с Турцией и в случае надобности занятия Константинополя. Орлов прошел в Петровский зал, говорил с императрицей о пустом, вспоминали, как в Царском, в старинных доспехах, на эспланаде Александровского дворца, царь, царица, 16 дам и 16 рыцарей исполнили кадриль с эволюциями.

Только отпустив Нессельроде с Меншиковым, Николай вышел к Орлову, ласково потрепал графа по крутой, жирной лопатке, даже обнял, смеясь, проговорил:

— Нет, Федорыч, турку с англичанкой не поддадимся, нет!

Но, зная с чем приехал Орлов, сказал:

— Пройдем ко мне.

Откланявшись императрице, Орлов пошел за быстро идущим императором, по переходам, гостинным, залам, лестницам. У стола с разноцветными фигурками солдат, Орлов вынул из потертого портфеля рукопись в четыреста страниц. Николай улыбнулся туманно.

— Много понаписал. А как, ты читал? Садись.

— Читал, государь, — Орлов, в светлоголубом, перетянутом серебряным шарфом мундире, опустил тучное тело в сафьяновое кресло, — и скажу, ваше величество, произвело на меня писанное впечатление тягостное. — Орлов крутил толстыми пальцами, оборвал, замолчал, как бы задумываясь. — Раз уж заговорило, ваше величество, самолюбие, то ни ум, ни способности, не в состояньи удержать от самых беспорядочных и преступных увлечений воображения. Нахожу полное сходство с показаниями печальной памяти казненного Пестеля.

Николай почернел мгновенно, самого имени полковника Пестеля, назвавшего царя в лицо сыном выблядка, не мог слышать.

— В чем? — сказал односложно.

— Да то же, ваше величество, самодовольное перечисление всех воззрений враждебных всякому общественному порядку, тщеславное описание самых преступных и вместе с тем самых темных планов и проектов, но ни тени серьезного возврата к принципам верноподданного.

Ледяные глаза царя дрогнули, как бы усмехнулись.

— Что ж, обмануть меня стало быть хочет?

— Раскаяния, приличествующего его положению, не замечаю в «Исповеди», государь, — произнес Орлов, — а что смел он и ловок отнять нельзя, только смелости этой дает ложное применение.

Николай взглянул на первый лист: «Ваше императорское величество! Всемилостивейший государь!»

— Ну, иди, — сказал туго, — почитаю.

12

Николай сидел у блестящего, длинного стола карельской березы; под стеклом стояли крашеные, восковые фигурки солдат, лежали акуратно, в папках, доклады Орлова о польских происках и доклады вице-канцлера Нессельроде об антирусских интригах Англии. Подперев рыже-седой висок белым кулаком, Николай читал «Исповедь».

В первый раз разжался белый кулак у виска, когда прочел, «молю вас, государь, не требуйте от меня, чтоб я вам исповедывал чужие грехи. Ведь на духу никто не открывает грехи других, только свои». Из золоченого бокала Николай взял карандаш, черкнул на поле: — «Этим уже уничтожает всякое доверие; ежели он чувствует всю тя-

жесть своих грехов, то одна *полная* исповедь, а не условная может почесться исповедью».

Сумерки падали, плыли, поплыли над Петербургом; окутали, скрыли шпиль Петропавловской крепости. Посерела окованная гранитом Нева. В бельэтаже, на Неву кабинет царя оставался темен. Николай не замечал павших на его город сумерек. Потом зажег десятисвечный канделябр, принес, поставил на стол и сел, вытянув ноги, расстегнув мундир, блеснув ластиком.

«В Западной Европе, куда не обернешься везде видишь дряхлость, слабость, безверие и разврат, происходящий от безверья», Николай черкнул на поле: — «Разительная истина!»

«Видел я иногда русских, приезжавших в Париж. Но молю вас, государь, не требуйте от меня имен». — Николай поставил «NB». И тут же против слов: «раскаянье в моем положении столь же бесполезно, как и раскаянье грешника после смерти — я буду просто рассказывать факты и не утаю, не умалю ни одного», — написал гневно, с сердцем: — «Неправда! Всякого грешника раскаянье, но чистосердечное, может спасти!»

Обгорали, отекли, таяли десять свечей золоченого канделябра. Плыла ночь над миром, над Петербургом. Бакунин ворочался, кашлял, крякал, с Ольмюцкой камеры начались кровеприливы, разламывающие череп головные боли. Словно потоком бросалась кровь в голову и грудь, так, что поднимался на нарах, задыхаясь, Бакунин. В ушах шум кипящей воды и отвратительно-невыносимые геморoидальные боли.

Царская койка стояла давно откинутой, прикрыта военной шинелью. В летящем ветре с Невы дворец был слепым, красивейшим в ночи, камнем. Стекла кабинета императора отливали отблеском канделябр на Неву. Николай сидел захваченный «Исповедью».

«— тяжело моему самолюбию: мне так и слышится, что вы, государь, говорите: — мальчишка, болтает о том, чего не знает! А более всего тяжело моему сердцу потому, что стою перед вами, как блудный, отчудившийся, развратившийся сын перед оскорбленным и гневным отцом.» — Николай провел на поле вертикальную линию, черкнул: — «Напрасно бояться, личное на меня всегда прощаю от глубины сердца.»

«— оставив в стороне мои немецкие грехи, за которые был осужден сначала на смерть, а потом на вечное заключение, я вполне и от глубины души сознаю, что более всего я преступник против вас, государь, преступник против России и что преступления мои заслуживают казни жесточайшей». — Снова провел черту Николай, написал: — «Повинную голову меч не сечет, прости ему Бог!»

Потом вдруг разомкнул сведенные брови и скулы, и в кудрявато-рыжие усы улыбнулся: — «Das heilige Vaterland, существовавший доселе только в их песнях, да еще в разговорах за табаком и за пивом, должен был сделаться отечеством половины Европы!» — Черкнул: — «Прекрасно!» — и не угонял Николай с красивого лица плававшей улыбки.

«— немцы мне вдруг опротивели, опротивели до такой степени, что я не с одним не мог говорить равнодушно, не мог слышать немецкого языка и немецкого голоса и помню, что когда ко мне раз подошел немецкий нищий мальчишка просить милостыню я с трудом воздержался от того, чтоб его не поколотить!» В свете канделябра Николай смеялся: — «Пора было!» — черкнул на поле.

«— что делает французских демократов опасными и сильными, это чрезвычайный дух дисциплины. В немцах напротив преобладает анархия. Плод протестантизма и всей политической истории Германии, анархия, есть основная черта немецкого ума, анархия в каждом немце, взятом отдельно, между его мыслью, сердцем и волей. «Jeder darf und soll seine Meinung haben!» — Николай отчеркнул, с тремя восклицаниями написал: — «Разительная истина ! ! ! Неоспоримая истина ! ! !»

13

К кофе, в кабинет императора, как было приказано, вошел граф Орлов. Николай шутил с лейб-медиками Арндтом и Енохиным. Поздоровавшись с Орловым весело, отпустил врачей. Не прожевав еще сухарь, поэтому чуть нагнув голову, вынул из письменного стола «Исповедь» и остановился перед Орловым, усмехаясь в усы.

— Много любопытного. Но это, брат, как какой-то немец сказал «Wahrheit und Dichtung», — потряхивал разлетающимися, трепыхавшими, живыми листами рукописи. — Он хороший малый, Орлов, но опасный, его надобно держать взаперти.

Орлов наклонил кудлатую с проседью голову, словно сказав: «так я ж вам сам говорил, государь», и, взяв из рук императора рукопись, под словами «Ваше императорское величество! Всемилостивейший государь», увидал почерк царя: «Сто́ит тебе прочесть, весьма любопытно и поучительно». Орлов понял, что это обращено к наследнику. А, едучи в карете по Невскому проспекту, на последней странице, у слов «кающийся грешник Михаил Бакунин», прочел: «На свидание с отцом и сестрой согласен в присутствии Набокова».

14

Две тысячи дней, солнечных, туманных, морозных, ветренных, дождливых, две тысячи ночей проходили над землей. Цвела земля веснами, облетала осенями, засыпалась снегами, сугробами. Любили, рожали, умирали люди. Бакунин сидел в беззвучной тишине. Одну милость разрешил царь: у решетчатого окна повесить клетку с канарейкой. Прыгала желтенькая птица у Бакунина, но не пела.

Прежнего Бакунина уже не было на пятом году заключенья. Николай знал, что узники его вечного заключенья кончают помешательством. Обрюзглый, толстый, облысевший, беззубый от цынги Бакунин лежал на тюремной койке. Непрестанные боли в голове и заднем проходе довели до отчаянья, мучили припадки удушья, а страх помешательства поднимал ночью с нар. Чувствовал, что мозг немеет, что становится глупее день ото дня. Мысль об идиотизме не уходила от беззубого, толстого, шепелявого человека, лежавшего в покое № 5.

15

Но на шестом году заключения Бакунина Николай I потерпел тяжкое военное поражение в войне с Европой. И в этом же году под балдахином, в ароматных розах, в Фельдмаршалском зале Зимнего дворца утопал громадный гроб Николая I-го. У тела безмолвно дежурили высшие сановники и чины двора, часовыми стояли гвардии полковники с обнаженными саблями и дворцовые гренадеры. Дважды бальзамировал труп доктор Енохин и все ж тело разлагалось; то и дело к гробу подходили дворцовые чины, выливая флаконы ароматной жидкости.

Молчаливой, блестящей толпой теснились в зале при-

дворные вкруг нового всероссийского императора Александра Николаевича; рыдала старая императрица; плакала, стоя на коленях, любовница царя, Варвара Нелидова. Придворные тихо переговаривались о том, что государь умер от паралича легких, вследствие запущенной простуды; но многие предполагали, что Николай отравился; знали и последние слова Николая сыну: «Сдаю тебе команду, но не в полном порядке».

На десятые сутки из Фельдмаршалского зала гроб торжественно вынесли и шествие двинулось к Петропавловской крепости.

16

«ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ!

Многие милости, оказанные мне незабвенным и великодушным родителем Вашим и Вашим Величеством, Вам угодно ныне довершить новою милостью, мною незаслуженной, но принимаемою с глубокою благодарностью: позволением писать к Вам. Но о чем может преступник писать к своему государю, если не просить о милосердии? — Итак, ГОСУДАРЬ, мне дозволено прибегнуть к ВАШЕМУ МИЛОСЕРДИЮ, дозволено надеяться. Пред правосудием, всякая надежда с моей стороны была бы безумием; но пред МИЛОСЕРДИЕМ ВАШИМ, ГОСУДАРЬ, надежда есть ли безумие? Измученное, слабое сердце готово верить, что настоящая милость есть уже половина прощения; и я должен призвать на помощь всю твердость духа, чтобы не увлечься обольстительною, но преждевременною и, может быть, напрасною надеждой.

Что бы, впрочем, меня не ожидало в будущем, молю теперь о позволении излить пред ВАШИМ ВЕЛИЧЕСТВОМ свое сердце, — чтобы я мог говорить перед ВАМИ, ГОСУДАРЬ, также откровенно, как говорил перед ПОКОЙНЫМ РОДИТЕЛЕМ ВАШИМ, когда ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ угодно было выслушать полную исповедь моей жизни и моих действий.

Привезенный из Австрии в Россию в 1851 году и забыв благость отечественных законов, я ожидал смерти, понимая что заслужил ее вполне. Ожидание это не сильно огорчало меня; я даже желал скорее расстаться с жизнью, не представлявшею мне ничего отрадного в будущем. Мысль,

что я жизнью заплачу за свои ошибки мирила меня с прошедшим; и ожидая смерти — я почти считал себя правым.

Но великодушию ПОКОЙНОГО ГОСУДАРЯ угодно было продлить мою жизнь и облегчить мою судьбу в самом заключении. Это была великая милость и однако же милость ЦАРСКАЯ обратилась для меня в самое тяжелое наказание.

ГОСУДАРЬ! Одиночное заключение есть самое ужасное наказание; без надежды оно было бы хуже смерти; это смерть при жизни — сознательное медленное и ежедневно ощущаемое разрушение всех телесных, нравственных и умственных сил человека; чувствуешь, как каждый день более деревянеешь, дряхлеешь, глупеешь и сто раз в день призываешь смерть, как спасение. Но это жестокое одиночество заключает в себе хоть одну несомненную пользу: оно ставит человека лицом к лицу с правдою и с самим собой. — В шуме света, в чаду происшествий легко поддаешься обаянию и призракам самолюбия; — но в принужденном бездействии тюремного заключенья, в гробовой тишине беспрерывного одиночества долго обманывать себя невозможно; если в человеке есть хоть одна искра правды, то он непременно увидит всю прошедшую жизнь свою в ее настоящем значении и свете; а когда эта жизнь была пуста, бесполезна, вредна, как была моя прошедшая жизнь, тогда он сам становится своим палачом; и сколь бы тягостна не была беспощадная беседа с собою о самом себе, сколь ни мучительны мысли ею порождаемые — раз начавши ее, ее уже прекратить невозможно. Я это знаю по восьмилетнему опыту.

ГОСУДАРЬ! Каким именем назову свою прошедшую жизнь? — Растраченная в химерических и бесплодных стремлениях, она кончилась преступлением...

ГОСУДАРЬ! Что скажу еще? Если бы мог я сызнова начать жизнь, то повел бы ее иначе; но увы! прошедшего не воротишь! Если б я мог загладить свое прошедшее делом, то умолял бы дать мне к тому возможность: дух мой не устрашился бы спасительных тягостей очищающей службы; я рад бы был омыть потом и кровью свои преступления. Но мои физические силы далеко не соответствуют силе и свежести моих чувств и моих желаний; болезнь сделала меня никуда и ни на что негодным. — Хотя я еще не стар годами, будучи 44 лет, но последние годы заклю-

чения истощили весь жизненный запас мой, сокрушили во мне остаток молодости и здоровья: я должен считать себя стариком и чувствую, что жить мне остается недолго. — Я не жалею о жизни, которая должна бы была протечь без деятельности и без пользы; только одно желание еще живо во мне: последний раз вздохнуть на свободе — взглянуть на светлое небо, на свежие луга, — увидеть дом отца моего, поклониться его гробу и, — посвятив остаток дней сокрушающейся обо мне матери, приготовиться достойным образом к смерти.

Перед вами, ГОСУДАРЬ, мне не стыдно признаться в слабости; и я откровенно сознаюсь, что мысль умереть одиноко в темничном заключении пугает меня — пугает гораздо более, чем самая смерть; — и я из глубины души и сердца молю ваше величество, избавить меня, если возможно, от этого последнего самого тяжкого наказания.

Каков бы ни был приговор меня ожидающий, я безропотно, заранее ему покоряюсь, как вполне справедливому, и осмеливаюсь надеяться, что в сей последний раз дозволено мне будет излить перед вами, государь, чувство глубокой благодарности и к вашему незабвенному родителю и к вашему величеству за все мне оказанные милости.

Молящий преступник

14 февраля 1857 года *Михаил Бакунин*».

17

Ранней северной весной вывели заключенного Бакунина из ворот «Государевой Шлиссельбургской крепости». У ворот остался стоять комендант Троцкий. На день разрешили заехать в родное «Прямухино». Там на обветшалом за долгие десятилетия балконе гудели те ж родные липы, березы, вязы, — ночь и день.

Бакунин взошел по скрипящим половицам балкона в старый барский дом, неузнаваемый и чужой. Сестры Татьяна, Варвара, братья Павел, Алексей, Александр, Илья, Николай съехались, чтоб обнять и выговорить свои чувства Мишелю. Но Бакунин молчал. И все молчали. Только с своей старой, выжившей из ума нянькой Ульяной играл весь день в дураки на ветвистом, от весенних лип ароматном балконе. Наутро, жандармская телега помчала обрюзгшего, беззубого Бакунина столбовой березовой дорогой в Омск, в Сибирь и там фельдъегерь под квитанцию, при

отношении за № 539, сдал преступника омскому генерал-губернатору Гасфорду.

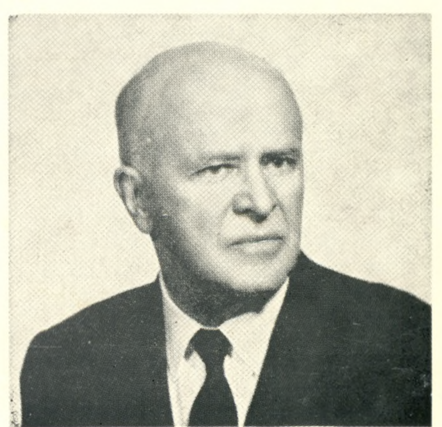
18

Тридцать тысяч верст бежал Михаил Бакунин из России назад в Европу. Сошел на английский берег, приплыв из Америки, увидал вновь любимый и ненавистный ему Запад. Оба за 11 лет изменились. Опухшего, безобразного, похожего на лавину, на налившегося кровью быка, Бакунина друзья узнали лишь по юношескому звуку пришепетывавшего, беззубого голоса, да по энергии. Бакунин встретил врага — уже всемирно-известного революционера Карла Маркса. Встретил друга — всемирно-известного публициста Герцена. Обнял любимого, никому неизвестного музыканта, Адольфа Рейхеля. И встал за прежнюю работу — за страсть революционного разрушения Европы.

Он поднимал против Александра II-го поляков. Плавал с вооруженной экспедицией к берегам Балтики. Возглавлял «Альянс», мировое тайное общество заговорщиков. Поднимал восстанье в Лионе, увлекая французов. Еле бежал из Болоньи, где подымал итальянцев. Но к старости становился груб, раздражителен и словно разочарован во всем.

Горным швейцарским утром, нищий, больной, шестидесятитрехлетний Бакунин медленно пришел в бернскую бесплатную больницу. И вскоре здесь на койке для чернорабочих умер...

Нью-Иорк, 1957 г.



Роман Гуль в 1970 г.